

---

Н а т а л и я  
Т е р е н т ь е в а

---

н а р и с у й м н е  
в н е б е с о л н ц е



Наталия Терентьева  
**Нарисуй мне в небе солнце**

«АСТ»

2015

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Терентьева Н. М.**

Нарисуй мне в небе солнце / Н. М. Терентьева — «АСТ», 2015

ISBN 978-5-17-091348-0

Иди к мечте наперекор всему, и она обязательно сбудется, – этому веришь в юности. И бросаешь привычную жизнь, и бросаешься в яркое, необычное, сверкающее. Театр – что может быть чудеснее? Для Кати – именно так. Больше всего она хотела быть актрисой. И вот – у нее есть сцена, кумиры всей страны стали ее преподавателями, и – главное – она встречает любовь, яркую и невозможно прекрасную. Те, кто ее окружает, живут в другой реальности, где можно все – легко дотянуться до звезд, взлететь и разогнать тучи над головой любимого человека, нарисовать в пасмурном осеннем небе солнце. Только... согреет ли оно? Об этом искренний и щемящий роман московской писательницы Наталии Терентьевой, не понаслышке знающей, что такое сцена.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-091348-0

© Терентьева Н. М., 2015  
© АСТ, 2015

# Наталия Терентьева

## Нарисуй мне в небе солнце

© Н. Терентьева, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

\* \* \*

Однажды, лет сто назад, когда мобильные телефоны были размером с мужской тапочек, а компьютер казался чудом, я первый раз в жизни увидела на чужом компьютере программу «Переводчик».

Я быстро набрала первую фразу, пришедшую в голову:

*«To be or not to be,  
That is a question».*

Компьютер так же быстро выдал мне корявый и по-своему гениальный, сравнимый разве что с гением оригинала, перевод:

*«Чтобы быть или не быть – это вопрос поиска».*

Слова показались мне знаковыми. Я пришла домой и написала, словно выдохнула, несколько строк. Прочитала – сама удивилась. О чем это я? О ком?

*...Я ищу тебя, и ты ищешь себя, и мы ищем друг друга на этой хрупкой грани между там и здесь, между обманчиво-вечным светом и непроглядной бесконечностью ночи, несовершенные белковые организмы с насмешливо коротким отпущенным нам сроком.*

*Ищите да обрящите...*

*...эту странную, эфемерную, ускользающую субстанцию...*

*...эту единственную, неизлечимую боль...*

*...эту выдумку, эту глупую несбыточную мечту...*

*...эту простую репродуктивную программу хитрой природы,*

*не спросившей, а хотим ли мы появиться в этом мире,*

*и заставляющей теперь нас с тобой искать друг друга,*

*чтобы потом кто-то опять спрашивал себя —*

*а быть ли ему в этом странном мире, в этом прекрасном мире, —*

*и искал того, без кого – быть – невозможно...*

Отложила листочек с удивившими меня саму словами подальше, но не выбросила. Авось да сгодится на что-то. Или просто лет через сто достану и улыбнусь – какая же наивная и романтичная я когда-то была. Я – умная и решительная особа, всегда выглядящая и чувствующая с запозданием лет эдак на... восемь-десять. А то и на двенадцать.

\* \* \*

Был теплый, солнечный июнь. Я сидела дома и маялась от безделья и неопределенности. – Когда ты устроишься на работу? – Мама только что пришла с работы, устала, восемь часов читала чью-то рукопись.

Мама работала редактором в военном издательстве, правила статьи о разведке в условиях гор, об устройстве новейшей техники, локаторов, подводных лодок, даже секретные работы об испытаниях ядерного оружия. Моя маета была ей непонятна и неприятна.

– Мам... Я салат сделала... Будешь? Ну я не определилась еще, понимаешь?

– Ты для этого заканчивала МГУ, училась у лучших профессоров, чтобы торчать теперь дома и читать всякую белиберду? Что это у тебя сегодня? – Мама мельком посмотрела на обложку моей книжки и тяжело вздохнула: – Господи, ну надо же, «Правда чувств на сцене»! Столько лет учить иностранные языки – редкие языки! – получить диплом, и теперь вот – на́ те вам!.. Ну какая правда чувств, Катя! О чем это?

– Мам, вот Ленин, например, девять языков знал. Или шестнадцать. Но он же не работал переводчиком.

– Что ж тогда твой Ленин на знамени революции не написал: «Я в артисты бы пошел... лишь бы не работать!!!» При чем тут Ленин? Еще Александра Македонского вспомни! Убери это все от меня! Вообще куда-нибудь убери! Где ты это находишь? – Мама нервно отодвинула еще две книжки, которые я ей подсовывала, надеясь убедить в серьезности своих намерений. – «Иллюзия реальности», «Живая пластика». Просто ересь какая-то! У тебя что, с мозгами не в порядке? Ты сама этого не понимаешь? Какая пластика, Катя? Ты – и пластика... Ты что, танцами когда-нибудь занималась?

– Нет, к сожалению... Мам, не сердись на меня, а?

– Ты – бездельница, понятно?

– Мам...

– Училась, училась, в школе, в университете, а теперь – что? Ногами дрыгать, лицом хлопотать хочешь? Катя! С чего ты решила, что ты можешь быть актрисой? Ты выступала в студенческом театре? Ты умеешь петь, танцевать, что ты умеешь? Ты знаешь язык, который в нашей стране знают еще семь человек...

– Ну, мам... – Я попыталась взять маму за руку, но она резко вырвалась. – Мам, я не хочу быть переводчицей.

– В школу иди работай!

– Мам, я не хочу в школу...

– А что ты хочешь? Жизнь свою загубить?

– Нет, я ищу себя, мам...

– Все, хватит! Я тебя кормить больше не буду! Устраивайся куда хочешь и кем хочешь, и только после этого залезешь в следующий раз в холодильник.

– Я хочу артисткой в театр, ты же знаешь, мама.

– На́ вот! – Мама швырнула мне какую-то газету с объявлениями. – Выбирай самый нищий театр и иди туда лестницы мыть! Уборщица со знанием трех европейских языков – очень экстравагантно! Этикетки на чистящих средствах сможешь читать в подлинниках!

– Мам, мам, ну не кипятись так... Думаю, меня в билетеры уж точно возьмут, как ты считаешь? Смогу с иностранцами разговаривать вежливо, силь ву пле там... или по-венгерски им что-нибудь скажу, вот они удивятся...

Шутка не удалась. Видя, что мама от ярости уже побелела и стала тяжело дышать, я взяла газету и отправилась на лоджию, подальше от разъяренной мамы.

Мама на самом деле дала мне очень полезную газету. Думаю, она ее купила по дороге с работы, размышляя о том, как же мне помочь в моих метаниях. Я нашла там на последней странице список всех московских театров – больших, маленьких, совсем скромных и неизвестных.

Я была уверена, что меня обязательно возьмут артисткой в какой-нибудь театр, может быть, и не в самый захудалый. Я это знала, потому что... знала, еще с детства. Никому не говорила. И в МГУ училась совсем другому. Но ведь можно получить второе образование, театральное. Сколько известных актеров сначала учились на архитекторов, моряков, инжене-

ров-строителей! Я помнила наизусть эти несколько имен, эти потрясающие истории – как они пришли, уже взрослые, с профессиями, прочитали басню, монолог, спели-сплясали, от души, искренне, и... перед ними открылись двери в тот прекрасный и загадочный мир, который манил, звал меня сильнее всего. Я была уверена – меня точно выберут из сотен абитуриентов, жаждущих оказаться в числе будущих звезд театра и кино, и возьмут в мои неполные двадцать три года учиться прекрасному искусству лицедейства.

Мама не подозревала: я уже пробовала поступать в театральный, этой весной, через год после окончания университета. Год я мечтала – дома мечтала, на работе мечтала, читала об актерах, о методе Станиславского, смотрела спектакли с верхнего яруса, куда билеты стоили как в кино, а к весне, когда начались прослушивания, выучила басню, стихотворений я и так знала много, нашла очень хороший трогательный отрывок из пьесы Чехова, где героиня говорит о бессмысленности своей жизни... В апреле уволилась с работы – с большим трудом, не без вранья – и стала ходить на прослушивания.

Ходила-ходила, стояла по десять часов на улице в толпе возбужденных абитуриентов, слушала истории. Вот тот пятый год поступает... Пришел в пиджаке, с галстуком, все повторяет: «Я бы уже закончил, я бы уже закончил...» Наверно, ему мама так дома говорит, ругает его. Или, наоборот, жалеет. А вот та девочка рассказывает, что ее везде приняли. Зачем же она тут восьмой час подряд стоит – не евши не пивши, и все смеется, смеется, и жметя вместе со всеми поближе ко входу в заветные двери? А вот та некрасивая толстая девушка с косой... Неужели ее возьмут, такую толстую? И кого она будет играть? Сразу бабушек? А кого тогда будут играть настоящие бабушки, прослужившие в театре шестьдесят лет? А вот тот юноша, снимавшийся в кино, – неужели и ему надо поступать на общих основаниях? Все его узнали, все обступили, с завистью повздыхали, кто-то даже автограф взял и отошел...

Я очень робела в этой веселой и взволнованной толпе. Мне казалось – все они вместе, одна я – не пришей кобыле хвост. Тем более такая взрослая... Двадцать два года уже, скоро будет двадцать три... Надевала я на прослушивание мамино красивое платье – сиреневое, которое при определенном освещении становилось зеленовато-голубым, приятное, бархатное. Но крайне неловко себя в нем чувствовала – взрослой старой тетенькой. Мне ведь уже не шестнадцать!!!

Меня никуда не взяли – ни в ГИТИС, ни в Щукинское, ни в школу-студию МХАТ. Я не пошла только в Щепкинское – почему-то мне казалось, что это не мое. Институт при Малом театре, значит – пафосная речь, пьесы Островского, артисты в париках и древних платьях, громоздкие декорации... Я привыкла доверять своим непонятным ощущениям и не пошла. Во ВГИК тоже не пошла, потому что не была уверена в том, что в профиль буду красива на экране. Театр – другое. Со сцены все кажется красивыми.

Во всех институтах я прочитала свою программу и не раз – можно было записываться по два-три раза, слушали разные преподаватели, но... Не взяли и не взяли, я решила ждать следующей весны. Но время шло, и надо было действительно устраиваться на работу. Шутки шутками, а мама, в отличие от меня, человек последовательный. Сказала – кормить больше не будет, значит, не будет. Да и правда нехорошо – мама работает с утра до вечера, а я уже третий месяц сижу дома, играю на пианино, отрывки учу, стихи декламирую.

Я сидела на лоджии, внимательно изучала названия и репертуар новых театров, и мне всё как-то не нравилось. Ну кого я буду играть в «Ричарде III»? Королеву Англии? А кого в «Трех поросятах»? Самого глупого поросенка, который построил дом из веточек и радовался? А в пьесе абсурда «Носорог»? Носорога? С моим-то фамильным носом, который так прекрасно выглядит в фас...

Мне стало грустно, я свернула газету и тут увидела в самом конце афиши московских театров-студий мелкими-мелкими буквами набранный репертуар: «Река с быстрым течением», «Визит Вийона», «По темным аллеям памяти». Мне понравились названия спектаклей, все

так красиво, романтично, неглупо, в таких пьесах точно найдутся для меня подходящие роли. Выбор был сделан.

Назывался театр непонятно: Московский драматический театр «Экзерсис», иными словами, театр «Упражнение». Но меня это уже не смущало. «Экзерсис» так «Экзерсис». Наверняка там люди упражняются в прекрасном. Уж очень интересный у них репертуар – мой! Я человек начитанный, думающий, совсем с ума не сошла, зря мама так считает. В театре же – в хорошем – говорят о высоком, о вечном... Как раз о том, о чем я постоянно думаю. Почему мы такие, зачем живем, что такое любовь, что делать, когда она уходит или никак не приходит. Время идет, а ее все нет и нет. Вот как у меня.

Я вышла из метро на другом конце Москвы и остановилась перед огромным, современным зданием ДК.

Был теплый безветренный июньский вечер. Сверкающий дворец культуры с гордой вывеской на втором этаже (я очень обрадовалась, что театр не в подвале) – «Московский театр “Экзерсис”» – показался мне символом моей новой жизни.

Я достала зеркальце, убедилась, что выгляжу нормально, толкнула высокую стеклянную дверь. И оказалась в небольшом, совершенно пустом фойе. Из-за двери, ведущей в зрительный зал, раздавались голоса.

Когда открылась дверь и из зала стали выходить актеры, я сразу обратила внимание только на одного, не слишком высокого, темноволосого человека, мельком взглянувшего на меня. Не знаю, почему обратила. На кого-то он был похож, что ли. На Аль Пачино, или на Челентано, или на обоих вместе...

– Вы к кому, девушка? – спросила меня хриловатым голосом изящная женщина с седой стрижкой каре.

Я ответила не сразу, чувствуя на себе заинтересованные взгляды остальных актеров.

С каждой секундой мне там нравилось все больше и больше. Кроме седовласой дамы я увидела только одну актрису, некрасивую, невысокую, с унылым крупным носом и редкими светлыми волосами. Остальные были мужчины. Среди актеров не оказалось ни лохматых, ни волосатых, ни грязных, которыми меня всегда пугала мама, отговаривая идти «в эту богему». Обычно одетые, нормальные, чистые на вид, веселые люди.

Молодая актриса с унылым носом покопалась в большой мягкой сумке, достала... настоящую папиросу и закурила прямо в фойе, громко смеясь и при этом неожиданно грустно поглядывая на меня огромными, чуть навывкате светлыми глазами.

– Тася, выйди, пожалуйста, на лестницу, – сказала ей седовласая. – И зачем ты такие крепкие и вонючие сигареты куришь!

Из зала появился еще один человек, и по сразу подтянувшимся актерам я поняла, что это и есть режиссер. Он быстро взглянул на меня и хотел пройти дальше, в кабинет, но седовласая женщина остановила его:

– Марат, к тебе девушка.

Тот замер на полпути, как-то странно повернул одну только голову, стоя ко мне спиной, в этой же неудобной позе еще раз скользнул по мне взглядом и кивнул:

– Хорошо. Пройдете в кабинет.

В кабинете сидел симпатичный темноволосый человек, похожий на итальянца, тот самый, на которого я обратила внимание, и, склонившись над столом, считал в столбик.

– Присаживайтесь. – Марат пододвинул мне стул и сам расположился напротив.

«Итальянец» от бумажек не отрывался, лишь пару раз весело взглянул на меня, на мои ноги... Я положила руки на колени, потом одернула и без того не слишком короткую юбку. Честно просидев пять лет на лекциях и в библиотеке, я ничего не знала о неотразимой силе длинной стройной женской ноги, так же как мало знала и о себе, и о жизни вообще. Я не

кутила, не гуляла, как положено в студенческие годы, студенческая вольница прошла мимо меня. Учиться мне было скучно, но я училась и училась. Как реагировать сейчас на такие откровенные взгляды, я не знала.

– Что вы закончили? – спросил меня Марат.

– Я... Может, я вам что-нибудь почитаю или спою? – ответила я. Жаль, что он начал с вопроса об образовании. Ну да, нет у меня театрального образования... Я не знала тогда главного секрета этого театра, узнала гораздо позже.

«Итальянец» бросил считать, подперся кулаками и лукаво проговорил:

– Лучше станцуйте.

– Здесь? – растерялась я. Кабинет маленький. Я бы могла, конечно, что-то станцевать, если бы включили музыку, симпровизировать, – что делать, раз решила идти в актрисы, надо себя преодолевать... Но я бы врезалась в них или в стол – места совсем не было!

Режиссер почему-то вздохнул и молча покачал головой. Я отнесла это не к себе – к замечанию «итальянца». Мне и без него было как-то не по себе! Я же первый раз пришла устраиваться на работу в театр, ничего не зная, ничего не умея...

– Очки наденьте, – неожиданно сказал «итальянец». – Уверенней будете себя чувствовать.

Я совсем оторопела. Очки действительно лежали у меня в сумке, но я их надевала только в случае крайней необходимости – чтобы не проехать станцию, например, или вечером, в темноте, или же дома, когда меня никто не видел. Неужели так заметно, что я близорука?

– Так, все, Никита Арсентьевич, пойдите-ка прогуляйтесь пока, – незло сказал Марат.

«Итальянец» легко кивнул, взял какие-то листочки, не торопясь вышел из кабинета. В дверях он чуть задержался, быстро засунул в рот палец и неожиданно раздалось «чпок!», как будто хлопнула пробка от шампанского. «Итальянец» насмешливо обернулся на меня, словно это я валяю дурака, и невозмутимо прикрыл за собой дверь.

«Ну вот, начинается, – подумала я. – Может, мама была права? Издевки, кривлянье... балаган... Пришла!»

– А почему вы наш театр выбрали? – спросил Марат, внимательно меня разглядывая. Манера у него была довольно необычная, к ней надо было привыкнуть: он смотрел исподлобья, низко склонив голову, темными азиатскими глазами прочно зацепляясь за тебя и не отпуская, глазами, в которых гаснет свет и не видно зрачка. – И что вы все-таки закончили?

– Закончила я московский университет, а пришла, потому что мне понравился ваш репертуар.

– Вы смотрели что-нибудь у нас?

– Нет. Но я прочитала названия спектаклей в газете...

Марат без улыбки кивнул:

– А какое название вам понравилось больше всего?

– «Река... Река с быстрым течением», – ответила я, ожидая вежливого отказа, с объяснением в духе моей мамы, что каждый должен заниматься своим делом.

А как быть, если дело, которое записано у меня в дипломе, я выбрала в шестнадцать лет и сдуру? Точнее, даже не выбрала, а... Как-то так получилось. Ходила в десятом классе кругами вокруг театральных институтов, даже записалась на прослушивание в школу-студию МХАТ... Когда никого не было дома, разучивала отрывки для показа, читала перед зеркалом, как положено... Точнее, как не положено, но я это узнала лишь спустя десять лет.

Проза – отрывок из предсмертной записки японского писателя Акутагава Рюноске, он ее написал перед тем, как сделать харакири: «Жизнь в этот последний миг кажется мне такой прекрасной...» Еще отрывок из Лермонтова, из главы «Фаталист», самой загадочной главы «Героя нашего времени»: «Я возвращался домой пустыми переулками станицы...» Печорин

возвращался домой ночью, смотрел на звездное небо и размышлял о том, есть ли кто в огромном холодном космосе, кому мы нужны, – или никого нет, и мы одиноки и потеряны, крохотные, слабые песчинки... Благодаря Лермонтову я всю жизнь об этом думаю.

Поэзия – я выбрала отчаянное стихотворение Цветаевой. «Как живется вам с другою – проще ведь? Удар весла, линией береговой скоро ль память отошла Обо мне – плавучем острове – По небу, не по водам...» Я все же прочитала это стихотворение на вступительном экзамене, только несколько лет спустя, уже закончив МГУ и два года проработав в «Экзерсисе». И тогда меня, уже довольно взрослую девушку, спросил народный артист, сидевший в комиссии:

– А вы можете прочесть еще раз и... как-то связать это со своими переживаниями? Ведь у вас уже были такие переживания, я надеюсь?

Представляю, что бы меня спросили в шестнадцать лет... А может быть, ничего бы и не спросили. Посмеялись бы над гендерной путаницей в моей голове и явной женской неразвитостью и взяли бы, красивую, высокую, шестнадцатилетнюю, учиться. Но я тогда, в десятом классе, постояла-постояла под дверью школы-студии МХАТ, послушала, как кто-то лает и лает, а другой то и дело вскрикивает: «А!», и опять: «А!», и еще раз, точно так же: «А!», а тот, кто лаял, все лает – до хрипоты, до изнеможения, – и ушла. Не потому что не хотела лаять и вскрикивать. Просто испугалась, не решилась, не была в себе уверена. Я смело пела и читала стихи только дома, когда меня никто не слышал, даже мама.

Но это было давно. Теперь я была готова и стихи читать, и прозу. Я давно поняла, что читать надо от имени женщины, точно не от имени японского самурая. И петь тоже.

– Ну-с, – сказал Марат. – Знаете что-то наизусть? Почитаете? Пойдемте в зал.

На деревянных ногах я прошла с ним в зал, с нами потянулись и несколько актеров, разговаривавших в фойе. А что делать? Ведь я хочу быть артисткой. Придется как-то терпеть...

Я вышла на маленькую сцену, кто-то включил софит, и я перестала видеть людей, рассевшихся на десяти рядах зала. Я прочитала отрывок из деревенской прозы Федора Абрамова, даже пропела несколько строчек – героиня пела, стоя на берегу реки.

Поскольку меня никто не остановил, я прочитала и монолог из пьесы Чехова, с которым провалилась во все театральные, и «Скифов» Блока, которых мне посоветовал выучить к следующему году один бодрый дедушка из комиссии в ГИТИСе, все улыбавшийся и подмигивавший мне на прослушивании. «Да! Скифы мы! Да! Азиаты мы! С раскосыми и жадными очами!» – читала я, Марат смотрел на меня не мигая, кто-то в зале вздохнул, Марат молча, не оглядываясь, слегка поднял руку. В зале опять стало тихо.

Я прочла еще и Цветаеву, как раз выучила новое стихотворение. «Кабы нас с тобой да судьба свела...» Я увидела, что в дверях зала стоит «итальянец» и, скрестив руки на груди, тоже слушает, как я читаю.

Мне неожиданно очень понравилось стоять на сцене. Волнение прошло, никто надо мной не смеялся. Сцена была маленькая, уютная, волшебная, с темно-серыми стенами, обитыми мягкой войлочной тканью. За плотными шторами по одной стене зала проглядывались высокие окна, они были открыты, воздух был свежий, я слышала, как поют птицы в парке, начинающемся сразу от ДК, и от этого вообще стало приятно и легко на душе.

– Хорошо, спасибо, – коротко сказал Марат, вставая. – Оставьте свой телефон.

– У меня нет телефона, – растерялась я. – Мы живем в новом районе.

– Тогда сами позвоните. Завтра, скажем... после трех.

Я ушла окрыленная. Он сказал «хорошо», «позвоните»! Не то что «Спасибо, вы свободны!»

Мои ощущения оказались верными. На следующий день я снова ехала на другой конец Москвы, уже с трудовой книжкой, в которой до этого успели появиться записи о моей недолгой работе в качестве переводчика. Я ведь не весь год сидела дома, я три месяца работала в «Инту-

ристе» и еще четыре училась там на курсах повышения квалификации. И ушла, не потому что хотела бездельничать, а потому что поняла – сейчас или никогда.

И вот – меня взяли в театр! Несмотря на то что у меня нет образования! Послушали, посмотрели на меня и взяли! Кем? Артисткой! Никаким не билетером и не уборщицей! Настоящей артисткой!

Мне и в голову не могло прийти, что ни сумрачный Марат, ни «итальянец» Никита Арсентьевич, ни седовласая женщина с мужским голосом и тонюсенькими щиколотками, оказавшаяся женой Марата, – тоже не учились! То есть все они где-то когда-то учились, но совсем по другой специальности, не по актерской или режиссерской. Я это выяснила позже, постепенно, подружившись с Тасей, которая работала в театре уже почти год и знала всё про всех.

Тася-то как раз училась, и не где-нибудь, а у самого Олега Табакова! И не с кем-нибудь, а со звездами, про которых она знала всё. Всё вообще. И готова была рассказывать часами. Правда, училась она в школе-студии только год, потом ее Табаков отчислил... Но не бросил. Устроил работать в кукольный театр и учиться где-то на заочном. У актеров тоже есть заочное обучение.

Тася все роли играла, как будто водила кукол. Лицо у нее было при этом смешное, говорила она, как большая трогательная кукла и так же и двигалась – неловко и забавно. Но актрис в театре не было – я, жена Марата да Тася, поэтому Тасе доставались главные роли – и красавиц, и страстных возлюбленных. Жена Марата играла более взрослых красавиц, а я – все остальное. Однажды мне дали даже главную роль, но быстро отобрали.

\* \* \*

... Я аккуратно открыла входную дверь. Ключ провернулся сразу. Я нашла его случайно, когда как-то полезла в шкаф в прихожей за отверткой. Я хотела подкрутить отошедшую от стены розетку, потому что сам он всегда с ужасом смотрел даже на перегоревшую лампочку и признавался:

– Ну не люблю я этого. Не умею.

Я тоже не специалист по электрике, но лампочку заменить могу и в стену гвоздик вбить, если надо.

Я тихо затворила входную дверь и слегка надавила на вторую. Я надеялась, что он полезет ее запереть.

Вторая дверь действительно была не заперта. Я вошла и, стараясь не врезаться во что-нибудь в потемках или не споткнуться о его ботинки, подошла к большой комнате, где он обычно спал.

Глаза постепенно привыкали к темноте. Я стала различать очертания широко разложенного дивана и спящую фигуру на нем.

Он спал, подложив обе руки под правую щеку, трогательно и беззащитно.

Под ногой у меня что-то зашуршало. Наверно, это он перед сном просматривал какие-нибудь финансовые отчеты и оставил их на полу.

Мне было совсем не страшно. Я даже не думала, что смогу так сосредоточенно и холодно выполнять весь тот безумный план, который зрел у меня в голове столько длинных бессонных ночей подряд... Я подошла ближе к дивану, и тут он вздохнул и стал переворачиваться на другой бок. Обычно в такие моменты он открывает на секунду глаза и, если его что-нибудь спросить, может ответить вполне членораздельно.

Не знаю, открыл ли он глаза. Даже привыкнув к темноте, я все равно плохо видела. Почему я стала плохо видеть в темноте? Какая разница! Ведь на самом деле я давно умерла. Только никто этого не заметил.

В его наглухо зашторенную квартиру – все три окна с плотными, тяжелыми, темными шторами – ни ночью, ни самым солнечным днем с улицы никогда не пробивался ни единый лучик света. А в ту ночь луна была огромная, мерцающая холодным желтым светом. Плохая ночь для разбойников и хорошая для ведьм. Ведьмы веселятся в полнолуние. При чем тут я, крещеная христианка, я ведь никакая не ведьма. Я или – бывшая я...

Я подошла совсем близко и присела. Я ничего не чувствовала в тот момент. Ничего – ни страха, ни ярости, ни жалости. Аккуратно, чтобы не задеть за подкладку куртки, я достала длинную заточенную отвертку. Я долго ее точила, три недели, чтобы она стала острой, как холодное оружие. Привыкла к ней. Сейчас я взяла ее обеими руками и примерилась. Попасть надо с первого раза.

Луна... Как ярко светит луна. Кто-то отдернул шторы? В доме есть еще кто-то?..

\* \* \*

Тася, Марат, Агнесса Григорьевна – жена Марата и «итальянец» Никита Арсентьевич стали каждый по отдельности меня опекать. И в силу своих возможностей учить, что такое театр, как надо искренне жить на сцене и умело притворяться в реальности, где просто не проживешь по тем законам, о которых написаны тома литературы и драматургии. Все наоборот: играй, но искренне, живи – и никому не показывай, что ты чувствуешь на самом деле. Почему? Съедят. Эти веселые, задорные, активные творческие люди – съедят, с потрохами. Учись быть как они. Всё настоящее – только на сцену. Жизнь – это антракт. Главное – там, на сцене.

Я слушала и верила. Все это было внове, после душных, темных залов библиотеки и бесконечных лекций по истории и литературе для меня открылась дверь в новую, нереальную жизнь. Я ведь знала! Я не зря сюда так рвалась! Даже мама смирилась. В театре платили деньги, два раза в месяц, нормально платили – аванс-получка, я одевалась, как прежде, в балахоны и лохмотья не вырядилась, волосы причесывала аккуратно, курить не стала, ночевала дома, – мама немного успокоилась. И в богеме тоже бывают нормальные люди, решила мама. А уж я так просто была на седьмом небе от счастья.

Год пролетел незаметно, почти год. Я успела сыграть тетушку гномов в сказке, женщину-авиатора в малоизвестной пьесе Булгакова, погибающую через полминуты своего появления на сцене, врача, рассуждающего о жизни и смерти в той самой пьесе, название которой стало определяющим при выборе театра – «Река с быстрым течением». Река эта и правда с быстрым течением, и как весело и увлекательно плыть, когда тебе осенью исполняется целых двадцать три года! К своему дню рождения я сделала себе потрясающий подарок. Было это так. Точнее, так начиналось.

Мы ехали на гастроли в далекий город Орск. Я никогда в жизни не представляла себе, что «ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету» – с кофрами, полными костюмов, реквизита, ничего нет лучше, чем приехать в незнакомый город, прийти в театр, расположиться в гримерке, репетировать на большой, неизвестной тебе сцене, где пахнет пылью, старой мебелью, гримом, еще чем-то волнительным и приятным, бегать по запутанным коридорам, полутемным лестницам, ходить по улочкам нового города, вглядываясь в лица – ведь кто-то из спешащих навстречу людей купил билеты на вечерний спектакль... И главное, со страшным волнением ждать вечера, когда откроется занавес... И ты в который раз произнесешь те же самые слова, и все будет так же и по-другому, каждый раз – по другому...

Добирались мы в Орск долго, почти двое суток. Мне дали билеты в одно купе с Тасей. В купе ехали не все – мы с Тасей, Агнесса с Маратом да художница со своим сыном, которого она взяла на гастроли. В купейном вагоне было много пустых мест, и мы ехали по двое, как будто в спальном, в люксе. Я даже немножко жалела, что все остальные – актеры, монтировщики,

осветители, костюмеры ехали в плацкарте. И Никита Арсентьевич с ними как главный. Там было веселее. Но и здесь Тася не давала мне скучать.

Она рассказала все самые страшные тайны, которые не успела поведать за год. Об Агнессе – оказывается, та на много лет старше Марата и раньше работала во дворце культуры администратором. Потом познакомилась с Маратом и стала актрисой. А Марат, хоть и без образования, помогал снимать дипломный фильм самому... Костину! Я толком не знала, кто такой Костин, Тася мне объяснила. Внук такого известного человека, просто фамилию себе придумал другую, автор нереально известной песни!.. «В мире, где ветрам покоя нет...» Так вот Марат с ним дружит... И диплом за него снимал... Поэтому у нас такие связи, у нашего театра, поэтому нам дали статус государственного, одним из первых... Еще Тася досказала мне секреты «Табакерки», те, что раньше не рассказывала. Мне казалось, что половину она придумывает на ходу, но все равно было интересно.

– Почему ты не поступаешь? – спросила меня Тася. – Ты красивая, тебя возьмут.

– Не взяли уже! – вздохнула я и поделилась наконец, своей несколько стыдной историей – про то, как меня вообще нигде не взяли.

Про веселого дедушку, посоветовавшего мне выучить «Скифов» к следующей весне, про то, как я приходила в школу-студию МХАТ дважды, и во второй раз меня узнал педагог, а я сказала, что я – это не я, а моя сестра. И что одной сестре – двадцать два, а второй – шестнадцать. И в паспорте подрисовала вместо тройки восьмерку. И паспорт пришлось потом менять, я его разрисовала и в милиции объяснила – малыш-племянник постарался...

– Это ты всё правильно говоришь! – обычной своей присказкой ответила мне Тася. – Слушай, Катька, ты не переживай. Найдется преподаватель, которому ты понравишься. Так всегда бывает. Вот, например, Осовицкая... Она любит таких, как ты. Высокая, гордая с виду... Ты петь умеешь ведь?

– Ну да.

– Вот. И петь умеешь. А казачьи песни знаешь?

– Что-то знаю. Только я тихо пою.

– А ты громко пой. И выучи, знаешь, что... Выучи монолог Медеи!

– Еврипида?

– Еврипида, кажется, да. Когда она детей своих съела. Тебе подойдет.

Я с ужасом посмотрела на Тасю.

– Детей съела? Ну, то есть я историю Медеи знаю, но почему мне это подойдет?..

– Да ты не обращай внимания! – засмеялась Тася. – Никто не думает про этих детей. Просто классный материал, для темпераментной брюнетки. Р-раз, как выйдешь, как заговоришь контрольно... Это низким голосом надо читать, как можно ниже... Вот тут... м-м-м... – Тася низко замычала, стуча себя ладонью по груди.

– Я вообще-то в душе маленькая блондинка, – вздохнула я.

– Так никто об этом не знает! Какая ты блондинка, ты что! Тебе надо что-то революционное...

– Жанну д'Арк?

Я зря об этом спросила. Пьесу Ануя про отважную юную француженку как раз поставили в театре-студии Табакова, откуда выгнали Тасю, и играла Жанну д'Арк именно ее подружка, которую я случайно тоже знала с детства – жили на одной улице, учились в одной музыкальной школе. Мы обе тогда не думали с Тасей, что через два года и нашу общую приятельницу из «Табакерки» выгонят и она придет к нам в театр! И будет наравне с нами, чуть лучше – у меня роль отнимут и ей отдадут. Но мы этого знать не могли. Тася расстроилась, вспомнив про свои неудачи, замолчала. Потом сходила в тамбур покурить, вернулась повеселевшая, стукнула меня по спине, плюхнулась на сиденье, завернулась в свой огромный оранжевый палантин с

мохнатыми фиолетовыми кистями, приставила кисточки вместо усов и сказала голосом старого аксакала:

– И басню нада, дэвушка, только сымешную. Шыто ты будешь читать, какую басыню, э?

– Я выучила басню Михалкова, про иностранцев... Там как будто разные акценты... эстонский... еще какой-то...

– Ну, давай прочитай, – проговорила Тася уже своим голосом. – Смелее, не тушуйся, все свои.

Я прочитала.

– Не, не пойдет! Не смешно. Другое учи.

– Все одно и то же читают...

– И что? Вот преподаватели и ждут, чтобы кто-то рассмешил их чем-то до боли знакомом. Классику какую-нибудь возьми, сто раз читанную, и по-своему прочитай. «Мартышку и очки», «Слон и Моську»... Такое что-то.

Тася даже не знала, как она была права и как все вовремя мне подсказала. После замечательных, оглушительных гастролей в Орске (лично для меня оглушительных – огромный зал старого драматического театра, спектакль за спектаклем, весь город обклеен нашими афишами, мне один раз подарили цветы, детский спектакль сыграли больше десяти раз, и дети всегда смеялись, когда моя тетушка гномов пускалась в пляс... Вот это жизнь!) нас отпустили отдохнуть на месяц.

В отпуске я выучила басню «Стрекоза и муравей», монолог Медеи и вспомнила свое любимое стихотворение Цветаевой, которое учила еще в десятом классе, «Как живется вам с другою...» В стихотворении мне нравилась романтическая боль, грусть и резкие перепады строк – как будто упала, встала, снова упала и снова встала и – полетела, полетела... Цветаева знала тайны женской души и умела про них писать, не раскрывая их до конца.

На сей раз я пошла только в Щепкинское, где – вот бывает же так! – набирала в этом году именно Осовицкая, про которую вдруг вспомнила Тася, когда мы ехали в Орск. Алевтина Осовицкая, народная артистка, одна из самых красивых актрис нашей большой страны.

Не знаю почему, но я поверила Тасе. Так убедительно она качала своим крупным мягким носом, с таким знанием жизни и театра выбирала мне репертуар... Песню я, правда, выучила не казацкую, а русскую северную, свадебную, тридцать два куплета «По сениям-сениям...» – тоскливую, красивейшую, протяжную, с брошенным на верхней высокой-высокой ноте криком или стоном – как выйдет, как споется. Веселья там никакого, но красота, сила, отчаяние – этого в наших древних свадебных песнях не занимать. В двадцать три года я не задумывалась – почему, просто пела, как слышала.

Когда я пришла в щепкинский дворик и встала среди абитуриентов, я даже растерялась. Такого количества красивых девушек вместе я не видела никогда. Не знаю, почему их было так много, может быть, потому что к красивейшей Осовицкой, игравшей когда-то казачку в знаменитом фильме, ехали ставропольские да терские казачки – статные, тонкие, с бровями, с яркими глазами, белозубыми улыбками, волосами до пояса... Я среди них потерялась, несмотря на заверения Таси, что Осовицкой я понравлюсь.

Я терпеливо ждала своей очереди, боялась, ни с кем не болтала, повторяла слова. Поработав год в театре, я знала, как можно забыть половину из четырех слов, которые ты должна произнести сегодня на сцене. «А вы...?» – а что дальше, не помню, темнота, у меня так было как раз в Орске, когда мы целую ночь с Тасей не спали, гоняли клопов в старых продавленных матрасах гостиницы.

Никита Арсентьевич приходил к нам в номер, ругал нас, издевался, не верил, что нас покусали клопы, а мы хохотали, плакали, показывали кровавые точки на стенах и матрасах. Особенно хохотала Тася, ей нравился Никита Арсентьевич, и, как мне казалось, она временами задерживалась в его номере слишком долго, почти до рассвета. Но при людях он к ней

никак не выказывал особого отношения, даже ругал и сердился больше, чем на других. Никита Арсентьевич был директором нашего маленького театра. Актером и директором, и главным бухгалтером, по совместительству.

Сейчас я стояла во дворике, смотрела на памятник Михаилу Семеновичу Щепкину и понимала: нет, никогда мне не поступить. Это я рядом с Тасей и Агнесой – красотка. А рядом с этими казачками...

Когда меня вызвали, ближе к вечеру, я уже устала волноваться. Думала – прочитаю как прочитаю. Работа у меня есть – не в библиотеке, не в Интуристе – в театре, настоящем! Я ведь уже работаю актрисой. И дальше буду работать. У меня уже есть три роли, в новом сезоне обещали еще. Так что поступлю – не поступлю, жизнь от этого не перевернется. Но я не поступлю, нет шансов.

– Что будете читать? – доброжелательно улыбаясь, спросил высокий брюнет в комиссии.

И я ахнула. Ничего себе! Я же его знаю! Это же народный артист, знаменитый, играл в таких фильмах... Американского шпиона, отважного мушкетера, еще кого-то... Я же его в детстве в спектаклях Малого театра ненавидела... Он везде играл, а я его везде ненавидела! Такой большой нос, тонкие губы, сам крупный... На папу моего чем-то похож. Может, поэтому ненавидела. С папой все было сложно, с красивым, умным, талантливым, ослепительным папой. И те мужчины, которые походили на него, вызывали любопытство и... острую неприязнь.

Но сейчас этот актер показался мне даже милым и симпатичным. Я вспомнила фамилию. Володуев, да, Алексей Володуев. Здорово. А где же Осовицкая? Ну как где – в центре! В самом центре! Красивая до невозможности, в огромном русском платке, наброшенном на открытое платье, да с веером – погода жаркая была, почти ненакрашенная, но нереально красивая...

Я как замороженная рассматривала мэтров. Еще двое, но я их не знаю. Пожилая приятная дама и веселый, как мне показалось, мужчина средних лет, ближе к старости – с точки зрения моих двадцати трех.

– Будете читать? – засмеялся Волобуев. – Или как?

– Да, да, извините, – спохватилась я.

Я быстро проверила кармашек юбки – зеркальце здесь, все хорошо. Оно мне было нужно для образа стрекозы.

– «Попрыгунья... – Я выставила вперед одно плечо, как у меня и было задумано, слегка стянула с него бледно-голубую блузку без ворота. – Стрекоза!..» – Тряхнула я распушенными волосами. Ну и что, что я не казачка. У меня тоже волосы пышные, длинные, блестящие – специально десять дней не мыла, чтобы ярче чистые блестели, способ такой есть индийский.

Кто-то из студентов, из любопытства пришедших поглядеть на вновь поступающих, засмеялся. Волобуев тоже фыркнул и переглянулся с Осовицкой. Та вполне доброжелательно смотрела на меня.

– «Лето красное – пропела. Оглянуться? Не успела!» – так же, в своем собственном рисунке, продолжила я и быстро достала зеркальце из кармашка юбки.

Взглянула на себя, на край лба, где неумолимо вдруг стали расти коротенькие серебряные волосы, на морщинки на лбу, у глаз, у рта, ужас, откуда все это, когда, я ничего не замечала, еще вчера этого не было...

– «Как... зима... глядит в глаза... Помертвело... чисто поле... – Мои ясные глаза, мои пышные волосы, моя гладкая кожа – где все это? – Нет уж дней тех ясных боле, где под каждым ей...» – Как же мне неудобно это было произносить, какой же все-таки Крылов безобразник был!

Я осторожно взглянула на Волобуева – ведь он не подумает, что я это действительно про себя говорю?

– «...под каждым ей... кустом! Был готов и стол, и дом... Все! Прошло! Зимой холодной... нужда, голод настает...» – договорила я басню до конца под общий смех студентов и

комиссии и все-таки решилась показать в последней строчке такого неприличного, такого сластолюбивого, такого жадного до чужой, пусть слегка увядшей, но готовой на все молодости, обрюзгшего муравья:

– «Так поди же! – звал мой муравей стрекозу к себе, в свои липкие объятья: – Попляши!»

– Молодец, – сказал мне Волобуев. – Точка оригинальная у вас очень.

– Кто ставил? – спросил четвертый педагог, сильно покраснев за то время, что я читала басню. Рыжеватый с сединой, краснеет по поводу и без, быстро отметила я.

– Точку? – удивилась я.

– Басню – кто вам ставил?

– Никто, – пожала я плечами.

– А всё же? – продолжал настаивать рыжеватый.

– Да никто, я сама.

– Молодец, – опять кивнул Волобуев.

– А кто вы по профессии? Образование уже есть? – допытывался рыжеватый.

– Есть, – тяжело вздохнула я. – Я закончила истфак МГУ и знаю много языков.

– Переводчица? – чему-то очень обрадовался рыжеватый.

– Да нет, почему. Я в театре работаю.

– Как называется театр? – не успокаивался рыжий. Все ясно, я ему не нравлюсь, сильно не нравлюсь.

– «Экзерсис», – негромко сказала я.

– Ка-ак?

– Леонид Иосифович... – посмотрела на него Осовицкая и слегка покачала головой.

– Московский драматический театр «Экзерсис», – повторила я.

– Что еще прочтете? – мирно спросил Волобуев. Приятный все-таки дядька. Почему он мне не нравился в детстве?

– Медее! – ответила я и побыстрее начала: – «О, низкий, о ничтожный, не знаю, как выразить сильнее языком, что ты не муж, не воин, хуже, злее...»

Я читала яростный, полный ненависти монолог Волобуеву, хотя он мне и был симпатичен, но читать Осовицкой я не решалась – все-таки монолог обращен к мужу, изменнику Ясону, из-за которого Медее и пришлось убить своих несчастных детей, а читать рыжему Леониду Иосифовичу, который так меня невзлюбил, я, уже достаточно опытная актриса, не стала. Ничего нет приятного в том, если на тебя смотрят с раздражением или насмешкой.

Волобуев же благосклонно кивал, даже слегка отстукивал в такт тяжелой, волнообразной поэтической строке Еврипида. Я читала, как мне и советовала Тася, низким голосом, как только могла. Зачем это было нужно, я не знала, но Тасе доверяла – сама играть она не слишком умела, но, проработав несколько лет в кукольном театре, про голоса знала все и умела говорить за любого: и за Бабу-Ягу, и за белочек-зайчиков, и за мужчин, и за женщин.

– А лирика есть? – спросила Осовицкая. – Что-нибудь женское.

– Да, свадебная песня, – кивнула я.

– Нет, подожди! – засмеялся Волобуев. – До песен мы пока еще не дошли...

Я знала, слишком хорошо знала – петь просят только тех, кто очень понравился, кого хотят взять.

– «Как живется вам с другою...» – завела я Цветаеву.

И вот тут-то Волобуев и попросил:

– Подожди, пожалуйста, давай сначала, и с личным отношением. Ведь у тебя... у вас уже были наверняка личные переживания?

Я посмотрела в добрые веселые глаза народного артиста. Ну как скажешь при всех, что у меня вообще никаких переживаний еще не было? Вот так сложилась жизнь. Нет, не было любви, не было романов, не было встреч. Влюбленностей – завались, я постоянно влюблялась,

с трех лет. Но если нет отношений, то и сильных переживаний не может быть. Так, мечты, вздохи да сплошные разочарования...

Я попыталась прочесть еще раз.

– Ладно! – махнул рукой Волобуев. – Ну что, Алевтина Семеновна, будем песню свадебную слушать? Пусть споет нам абитуриентка... м-м-м... – он посмотрел в свои листочки, – Кудряшова?

Осовицкая благосклонно кивнула, и я побыстрее запела, пока не сказал что-нибудь рыжеватый, который все рвался вставить свое слово.

– По сеням-сеня-ам...

Я пою хорошо, только тихо, но Тася научила меня за год петь по-народному. Ничего другого, кроме этой свадебной песни, у меня так громко не получалось. А это получилось – Тася билась-билась со мной и как-то сказала: «А ты представь, что ты... кукла». – «В смысле?» – удивилась я. «Ну представь – большая, толстая...» – «Тася, давай только не толстая...» – «Нет, толстая, с пшеничной косой, румяная... Глаза закрой, вот, а теперь пой – широко, громко, чтобы Сеня на той стороне речки тебя услышал, за которого тебя не отдали... Только ты не девушка, не играй ничего... Ты – кукла, большая, мягкая, несчастная...» И я запела, Тася только успела уши закрыть. «Молодец! Всё, поешь, как оперная в сарафане! Так все песни теперь пой!»

Комиссия послушала куплетов пять, больше не стала. Леонид Иосифович все же напоследок слово вставил:

– А что вы переводчицей-то передумали быть?

Я совершенно не знала, что ответить, и только развела руками. Ну что мне ему сказать? Что я с детства хотела быть актрисой? Теперь бы я именно так и сказала. Что жизнь такая короткая, и не стоит заниматься тем, что тебе не мило. Но тогда такие простые слова давались мне с трудом. И я промолчала.

– Леонид Иосифович, миленький, закона нет! – обронила непонятную фразу четвертая преподавательница и улыбнулась мне.

В класс уже входил следующий человек, высокий красивый парень, все на него заинтересованно смотрели, забыв про меня.

Я вышла из кабинета.

– Ну что? Кто там? Как слушают? – обступили меня с вопросами.

Я махнула рукой.

– А что так долго? Это ты пела? Понравилась им?

Я пожалала плечами и отошла. Нет, не понравилась. Кто меня тянул за язык? Сказала бы, что вообще образования нет, у них нигде не написано – просто фамилии. Теперь приклеено ко мне – «переводчица». Да, я знаю языки, но душа у меня к этому не лежит. Да я и не училась на переводчицу. Так, от скуки, от нечего делать все подряд языки изучала. И слух у меня абсолютный, произношение в любом языке – хоть в разведчики иди, как родное. Но я не хочу – ни в разведчики, ни в переводчики. Я в театре кого угодно готова играть. А ездить в автобусах, рассказывать иностранцам, в каком году были построены наши монастыри и церкви – нет, не хочу, неинтересно.

Через полчаса открылась дверь, и из класса, где было прослушивание, вышла девушка с листочком.

– На сегодня всё! – сказала она. – Кто не успел показаться, тот завтра пусть приходит, педагоги устали. Читаю, слушайте внимательно, один раз читаю, кто прошел на второй тур из всех десятков, так... Кондратьев, Алексеева, Степаненко, еще одна Алексеева, нет, это Алексеев...

Я все-таки слушала, кто прошел на второй тур, хотя была уверена, что стою зря.

– Филимчук, Кудряшова, Олейник...

– Я?!

Я прошла? А вдруг еще есть какая-то Кудряшова? Я протиснулась поближе к девушке, чтобы спросить, и тут открылась дверь, появились педагоги, я встретила глазами с Волобуевым, он мне кивнул и... подмигнул, да, просто взял и подмигнул! Четвертая, пожилая педагог, тоже увидела меня и махнула мне рукой: «Подойди!» Я с трудом пробралась к ней, она внятно проговорила:

– Революционное! Найдите что-то революционное, призыв какой-нибудь, в огне, на баррикадах, поняла?

Я кивнула. Значит, это я. Я – прошла. Но впереди еще два тура – второй и самый главный, экзамен по мастерству, в большом зале, придет ректор... Но это для тех, кто сумеет пройти второй тур.

На втором туре через неделю меня неожиданно попросили опять прочитать лирику, а я ничего и не учила, искала революционное, с флагами, учила монолог Жанны д'Арк, стихи про Красную Армию, Демьяна Бедного, «Ветры враждебные веют над нами» да «Марсельезу» распевала...

Я снова завела:

– «Как живется вам с другою...»

Волобуев замахал руками:

– А еще что-то есть?

Я не то чтобы сосредоточилась, а просто как будто стеганула себя изнутри – идиотка, учила про революцию, но должна же я что-то знать...

– «Ты запрокидываешь голову, затем, что ты гордец и враль!» – сказала я неожиданно для самой себя. Нет, я не помню конец, я знаю только несколько строк. Но – что делать? Читаю то, что знаю, времени вспоминать другое у меня нет.

Волобуев довольно улыбнулся и откинулся на стуле.

– «Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль...»

Я люблю Цветаеву, всегда любила и буду любить. Это женская душа, прекрасная, трепетная, мечущаяся, разорванная, вечная и после смерти – любящая.

– «Позвякивая карбованцами и медленно пуская дым...» – не торопясь, с удовольствием произносила я эти загадочные строчки.

Я никогда не читаю, для чего, когда, почему и кому написаны стихи. Не надо это знать! Ты чувствуешь в них то, что чувствуешь, это и передаешь. И тогда это правда – твоя и Марины Цветаевой, твоя – и великого Пушкина, твоя – и Мандельштама, Волошина, Ахматовой, Рождественского... Не надо, нельзя знать, о чем, о ком думал поэт. Думал – это думал, а писал – это писал. То, что я слышу, я читаю.

– «Чьи руки трепетные трогали твои ресницы, красота, когда, и как, и кем, и много ли – целованы твои уста – не спрашиваю, Дух мой алчущий...»

– Переборол сию мечту... – негромко договорил Волобуев хором со мной.

Рыжеватый цокнул языком, Осовицкая улыбнулась и погрозила Волобуеву пальцем, четвертая, пожилая, сказала: «Да!» – и стала качаться на стуле как школьница.

Я в нерешительности замолчала. Я теперь была уверена, что дочитаю до конца, я вспомнила все. Моя душа вспомнила. Это тоже одно из самых первых цветаевских стихотворений, которое я выучила еще в школе.

– Хорошо! Хватит! – махнул рукой Волобуев. – Да, Алевтина Семеновна? – наклонился он к Осовицкой и еще что-то тихо спросил. Та лишь кивнула. – Все, спасибо!

– А петь? – растерялась я.

– Не надо! – легко улыбнулся Волобуев.

Все. Это все. Это конец. Меня не приняли. Если петь не надо, больше ничего читать не надо...

- И Медею не надо? – убито спросила я. – Я еще «Марсельезу» могу спеть...
- До свидания! – сказал мне рыжеватый.

Я вышла из кабинета, прислонилась к стенке. Ну вот и все. Вот и свободна. Из дворика я не ушла. Сидела, смотрела на счастливых, несчастных, общительных, стеснительных... Какие же это все-таки странные люди – те, кто хотят стать артистами. Денег не будет, нет, не будет. У единиц только разве что. Остальные будут бедны. И неизвестны. Не могут все быть известными. А рвутся. Рассчитывают на славу? Или из-за чего рвутся? Вот я – из-за чего? На сцене я стесняюсь – почти всегда. Чем больше мне роль нравится, тем больше стесняюсь. Иногда бывает – вот как сегодня. Когда становится все равно, волнение проходит, и как будто попадаешь в какой-то поток, невидимый, волшебный. Похоже на влюбленность, очень похоже. Так же меркнет свет вокруг, так же ничего кроме этого сияющего потока нет. И странное волнующее чувство внутри. Забываешь о еде, не хочешь пить. Проходит боль, если что-то болело... Но так бывает не всегда.

Я хотела уже уходить – все понятно, я же слышала, как злорадно сказал рыжеватый «До свидания!» – не в том смысле, что он надеялся меня еще когда-нибудь увидеть. Ко мне подошла маленькая, смешная, некрасивая девушка или даже уже взрослая женщина.

- Ждешь? – спросила она. – Я – Алина, Аля. Прошла, как думаешь?
- Знаю, что нет, – вздохнула я.
- Уже знаешь? А я вот надеюсь, что прошла.

Я отчетливо услышала говор. Да, мне знаком такой говор. Я слышу все области – если когда-то слышала, то определю.

- Ты из Прикарпатья? – спросила я.
- Из Львова, – ответила мне Аля. – Как догадалась?
- Слышу, – опять вздохнула я. А она-то на что рассчитывает? Вокруг – все те же красотки. Их, правда, значительно меньше стало...
- Что смотришь? – улыбнулась Алина. – Какие девицы вокруг, да? Так не возьмет Осо-вицкая ни одну из них.
- Почему? – удивилась я.
- Во-первых, потому что есть мы, и мы талантливые, – она подмигнула мне. – А во-вторых, главная красавица на курсе должна быть сама Алевтина, а вовсе не они. Усекла?
- Да... – ответила я с сильным сомнением. Ну уж меня и ее точно не возьмут. Других не-красавиц – не знаю.

Из двери вышла та же самая девушка, секретарь приемной комиссии.

– Сюда подойдите! – закричала она слабым, непоставленным голосом, и кто-то из абитуриентов гаркнул: «Народ! Собрались!»

Девушка стала просматривать листочки и с каждого называть по одной лишь фамилии.

- Сколько человек на курсе? Сколько взяли? – заволновался кто-то. – Что, вообще никого не взяли?
- Сегодня пятерых только, – строго ответила ему девушка, – и не взяли, а на экзамен. Еще надо ректору показаться, всей приемной комиссии. Завтра еще сто пятьдесят человек слушать будут, едут и едут... Так...

Маленькая решительная Алина схватила меня за руку и просто подтащила ближе.

- Голованов... Савельев... Иващенко... Ковтун... Кудрянова, нет, Кудряшова.
- Да! – закричала Аля. – Да! – запрыгала и захохотала она. И встревоженно посмотрела на меня: – Что? А ты как?

- Я прошла... – ответила я, не веря своим ушам. – Прошла! Да! Я тоже прошла! Вот тебе и «до свидания!»! Вот тебе и не попросили спеть!

Мы пошли с Алей гулять по Москве, из ближайшего автомата я позвонила маме – нам как раз месяц назад, после пяти лет неудобной жизни без телефона, его поставили. Мама обра-

довалась. Она приняла мое решение, уже давно смирилась и была теперь за меня и за то, чтобы у меня в театре все получилось по максимуму.

– Я знала, дочка. Ты умница и красавица, – сказала мама.

– Мам, я с очень хорошей девушкой познакомилась, с Украины, – сказала я.

– Так приезжай с ней, я вас покормлю.

Но ехать к нам Аля постеснялась, приехала потом только, через два года, когда мы уже стали самыми лучшими подружками и когда столько воды утекло – отовсюду, изо всех щелей...

\* \* \*

Из отпуска я вернулась в театр другим человеком. Я теперь – студентка Щепкинского! И меня приняла на свой курс сама Осовицкая, мне есть чем гордиться. Конечно, можно вылететь и в первый год, нас уже предупредили опытные люди – половина курса меняется к окончанию учебы. Но я не собиралась вылетать, я никогда и ниоткуда не вылетала, я отличница, ответственная, собранная, отчего бы мне вылететь с курса. Нет, я буду хорошо учиться.

– Ну что, как? – спросила меня Тася дня через два после нашего выхода на работу.

До того она о чем-то шепталась с монтировщиками, с которыми дружила, и всё переглядывалась с Никитой Арсентьевичем. Точнее, заглядывалась на него, а он хмыкал и то отворачивался, то начинал напевать что-нибудь неприличное. Наверно, я пропустила какие-то события, но теперь я была уже мыслями далеко.

– Все хорошо, – ответила я.

– Не поступила? Ничего, в следующем году поступишь.

– Почему не поступила? – засмеялась я. – Поступила.

– Куда, в кулёк?

Все, закончившие главные московские театральные вузы, а даже и не закончившие, поучившиеся у знаменитых мастеров, кичатся этим и снисходительно относятся к другим местам, где тоже учат «на артиста». Например, к институту культуры.

– Да нет, зачем в кулёк...

Тася задиралась, я видела, что есть какие-то личные причины, не относящиеся ко мне, поэтому никак не реагировала. Ну, тошно на душе у человека, глаза заплаканные, в руке бычок недокуренной сигареты – затушила, докурит в следующий перерыв, денег нет, счастья нет, поэтому и цепляется ко мне. Я же во многом благодаря ей и поступила в институт.

– А куда? – Тася взъерошила свои почти бесцветные брови, послонявила палец и разгладила бровки в тонкую ниточку. – Я-а-а-а... – спела она арпеджио тоненьким голосом хрупкой ломкой куколки с огромными несчастными глазами.

– В Щепкинское, к Осовицкой.

– К Осови-и-цкой... Вот это да... Катька у нас теперь в Малом театре учится... А еще кто там преподавать будет?

– Еще Волобуев.

– Волобу-уев? Ух ты, красавец-мужчина... Держись к нему поближе...

Тася как будто не слишком обрадовалась, что я поступила. Хотя она всегда притворялась, играла свои собственные роли, без начала и конца, и трудно было понять, какая она настоящая и что она на самом деле думает. Она каждый день меняла то голос, то походку, то ходила расхристанная, нечесаная, то вдруг являлась утром на репетицию в длинном черном платье, то ковыляла на высоченных каблуках, обернутая с головы до ног в свой любимый цветастый оранжевый палантин.

– Сейчас, погоди, надо мне кое-кому пару ласковых сказать... – Тася подхватила и пошла смешной походкой, как будто крадетесь большая и не очень ловкая лиса, за директором.

Тот обернулся, вопросительно на нее посмотрел, покачал головой. Она его что-то тихо спросила. Директор молча покрутил ей у виска и пошел дальше.

Тася постояла, покачалась с носка на пятку, вернулась ко мне и сказала:

– Туруру-туруру, потерялось кенгуру! Зайчики с лошадками, белки с медвежатками... – всхлипнула и стала копаться в сумке. – Черт, где моя замазка, вчера была...

Тася замазывала почерневший зуб «штрихом», белым корректором, и покрывала сверху бесцветным лаком.

Неприкаянная, растерянная, чудная Тася стала подругой Никиты Арсентьевича. Сомнений у меня теперь не было. Значит, тогда, на гастролях, все это мне не показалось, – Тася ведь несколько раз уходила перемолвиться с директором парой слов, а возвращалась уже под утро. Но она объясняла это разными удивительными причинами – застряла на площадке на другом этаже, ее там заперли, срочно искала аптеку, помогала кому-то... Я не вдавалась. Не хочет говорить – не надо.

Сейчас же, неделю понаблюдав их переглядки и таинственные исчезновения на пару часов, я была почти уверена – да, Тася стала встречаться с нашим директором и не просто встречаться – кажется, влюбилась в него. После встреч плачет, все рвется чем-то поделиться, но сама себя обрывает, начинает приговаривать кукольным голосом, рассказывая то сказочку, то четверостишие...

Никита Арсентьевич недавно женился. Когда мы уезжали в Орск, жена приходила на вокзал его провожать, невысокая, симпатичная, в огромных трогательных очках. Она сидела дома с маленьким ребенком и часто звонила Нике в театр. Ее тоже звали Таисия, как и нашу Тасю.

Когда ему говорили: «Тася твоя звонит», вторая Тася грустнела и опускала еще ниже свои покатые плечи. А Никита Арсентьевич, победоносно не глядя ни на кого, ловко прыгал через несколько ступенек, держа руки в карманах солдатских штанов-галифе, в которых он всегда репетировал. И очень музыкально напевал свои неприличные песенки.

Возвращаясь после разговора с законной Таисией, он обязательно цеплял каким-нибудь неожиданным словечком вторую, незаконную. Все, в том числе она, смеялись. А мне было стыдно за Никиту Арсентьевича и жалко Тасю, которая, изредевшись и накурившись крепких папирос до головокружения, поджидала потом как ни в чем не бывало директора в коридоре, и они опять вместе уходили куда-то во время перерыва. А потом приходили порознь.

Мне не нравился Никита Арсентьевич, активно не нравился. Меня раздражали своим обманчиво-печальным выражением его арамейские глаза, с опущенными внешними уголками. Глаза, правда, очень необычного цвета – темно-серого. Так мне сказала Тася, я старалась в глаза ему не смотреть. И никогда не называла его Никой, как звала Тася и многие в театре. Что за девчачье имя – Ника? Мне не нравилось его имя, раздражала ладная, правильная фигурка бывшего гимнаста, наглый, хрипловатый дискантик, слишком тонкие запястья смуглых маленьких рук, на которых не было обручального кольца. Меня задевал его показной атеизм и шутки, бесконечные шутки, в которые он ловко переводил любой серьезный разговор.

Я и не думала скрывать неприязнь к директору своего первого театра. Тем более меня удивило, когда Никита Арсентьевич подошел как-то ко мне в конце августа, когда я считала дни до начала учебного года в Щепкинском и приходила на репетиции в «Экзерсис» уже просто так, чтобы помечтать о своей будущей, настоящей жизни в настоящем театре.

После поступления я почувствовала себя уверенно. Меня выбрали из сотен абитуриентов, приняли в числе других восемнадцати счастливчиков! И кто принял! Народные артисты, лучшие, знаменитые, что-то, значит, во мне увидели. Ведь у меня ни знакомых, ни родственников в театре нет, папа – музыкант, но у папы своя жизнь, и моего стремления в театр он пока не понимает. Никто со мной не занимался, программу для поступления мне не готовил, как бы рыжеватый Леонид Иосифович не подкапывался ко мне. Значит, я имею право – и здесь,

в нашем маленьком «Экзерсисе», работать. Не по милости Марата я здесь, а вполне даже по праву.

Я сидела за кулисами, ждала своей сцены и вполуха слушала Тасины причитанья о том, какой же подлец этот Ника.

– Ты представляешь!.. – сама себя заводила Тася. – Ой, пойдём, постоишь со мной, я покурю, а то нервов никаких не хватает. Катюшка, пошли, а?

Мы пошли на лестницу. Тася вытрясла всю свою сумку на подоконник и выловила в куче помад, ирисок и бумажек, исписанных ее неровным почерком, две разные сигареты.

– Смотри, а то давай? – Тася протянула мне менее мятую. – Не будешь? Ну и правильно. Ты вообще такая умная женщина, Катерина... – Мои рассказы о том, что я еще не совсем женщина, не произвели на нее никакого впечатления. – Ты будешь большим ученым! – Тася сделала большие грустные глаза, как у игрушечного зайца, и подвигала носом.

Я фыркнула:

– Тась, ты что говоришь? Сама мне посоветовала пойти в Щепкинское, прочитать Медею и не робеть перед народными артистами. Какой большой ученый? С чего вдруг?

Тася покорно кивнула:

– Ну, значит, большой артисткой. Ты красивая как сволочь и голос у тебя как труба иерихонская, возьмут тебя в академический театр потом твои народные, вот увидишь. Будешь там в платьях шикарных ходить... – Тася показала, как именно я буду ходить, прошлась вокруг себя, широко расставив руки и мечтательно заведя глаза. – А вот я... – она присела на корточки и яростно затянулась, – а я так тут и помру... в этом клубе... на краю света...

– Тася, ты что, так его любишь?

– Ко-го? – Моя подружка вполне искренне удивилась, и все равно это получилось у нее притворно. Но я уже привыкла к ее странной манере и почти не обращала внимания.

– Ну кого-кого – Нику, Никиту Арсентьевича.

– А-а-а... Нику... Да нет, я люблю машиниста... Даже двух... А Нику... Ты его со спины видела? Крепкий весь такой, аппетитный, просто хочется подойти, прижаться...

Дальше слушать в моем девичьем положении было бесполезно и противно, я махнула рукой и пошла обратно за кулисы. И сразу же натолкнулась на Нику, который с независимым видом стоял, оказывается, все это время совсем рядом с нами.

– Болтаете, девчонки? – игриво спросил меня директор и строго посмотрел на Тасю.

– Шпионите, мальчишки? – ответила я и обернулась к сопящей на полу Тасе. – Вставай, пошли.

– Пусть посидит, ей полезно, – усмехнулся Ника и взял меня под локоток. – А нам с вами надо кое о чем побеседовать.

– Тась, я тебе потом все расскажу, слово в слово, – громко сказала я подружке и пошла за Никой.

– Вы, Кудряшова, уходить, кажется, от нас собрались? – Ника не дал мне ответить и продолжил: – Собрались. Только вам это совсем не надо.

Я высвободила свой локоть и, наверно, в первый раз близко рассмотрела директора. Он, конечно, был хорош. Понятно, почему одна Таисия то и дело ревела, а вторая каждые полчаса названивала в театр. Смугловатое, точеное лицо, чистая кожа, небрежная мальчишеская стрижка густых темных волос с едва пробивающейся сединой на висках, жесткий подбородок, изогнутый в полуулыбке хищный рот... Я заставила отвести себя глаза от улыбающегося директора. Человек совсем не в моем вкусе.

– Что мне «не надо», Никита Арсентьевич? Учиться не надо? А кому надо? Вам? Или еще кому в вашем замечательном театре?

– Беситесь, Кудряшова? – улыбнулся Ника. – Беситесь. И правильно. Уходить не хочется.

– Мне...

Он перебил меня:

– А так и не надо никуда уходить. Я, как директор, предлагаю вам остаться у нас на разовых, учиться и работать одновременно. Согласны? Конечно, согласны. В октябре на гастроли поедом. Вы хотите поехать на гастроли, Кудряшова?

– Только если вы меня поселите в президентский люкс, Никита Арсентьевич.

– Да нет, Кудряшова, я поселю вас в свой номер.

За спиной раздался Тасин всхлип. Я понадеялась, она не слышала, что говорил ее ненаглядный друг.

– Так как? – Никита Арсентьевич ненароком опять взял меня за руку. – Согласны?

Я молча пожала плечами. Понятно, что он шутит. Но зачем? Чтобы я, как Тася, бегала за ним и преданно на него смотрела? Плакала и ждала? Что за ерунда.

Конечно, ни на какие гастроли я не поехала. Через две недели я пришла к Никите Арсентьевичу и попросила свою трудовую книжку.

– Точно? – спросил, улыбаясь, директор. Он достал из сейфа мою трудовую и держал ее в руках. – Не пожалеете? Не передумаете?

– Точнее не бывает, – ответила я. – Можно побыстрее? У меня еще сегодня занятие.

– Вечером? – удивился Никита Арсентьевич. – А я думал, вот подпишу вам трудовую, и пойдем в парк погуляем. Как, Кудряшова?

– У меня репетиция, извините, Никита Арсентьевич. Мы этюды делаем.

– На какую тему этюды?

– На тему... – Я взглянула на улыбающегося директора. Ну да, конечно, он очень симпатичный мужчина. С харизмой, оригинальный такой. Только зачем мне все это? И раньше не надо было, а теперь – тем более. – На тему зоопарка.

– А! Ну, тогда не смею задерживать. А вы там, извините, кем будете, в... зоопарке? – Никита Арсентьевич смеялся.

Ну и пусть смеется. Ему не понять, он в театральном не учился.

В одном этюде я была гордой ланью, в другом – кенгуру, но говорить этого Никите Арсентьевичу я не стала. Пожала плечами, улыбнулась и ушла. Я знала точно – я навсегда уйду из этого милого театра на краю Москвы. Для меня это был край Москвы и совсем другой – не мой край. Заводской, индустриальный район, построенный на бывших канализационных полях. Он разросся, местами зазеленел, но... Я живу в самом лучшем районе Москвы на берегу реки, и теперь учусь в самом лучшем, лучшем из лучших театральных институтов, в самом сердце Москвы, в двух шагах от Красной площади, я учусь у народных артистов, добрых, щедрых, талантливых... Что мне теперь театр «Экзерсис»?

\* \* \*

– Катька, у тебя во сколько репетиция заканчивается? Тебя ждать?

Моя подружка Аля стояла в большой белой шапке, завязанной под подбородком, и можно было спорить – ей не больше двадцати лет. У Али уже было театральное образование, среднее, и она приехала в Москву поступать, имея за плечами годы работы во Львовском ТЮЗе. Там она играла и играла девочек, а то и мальчиков – с ее забавной внешностью можно было играть кого угодно, только не взрослого человека.

У нас на курсе ей сразу во всех отрывках стали давать роли бабушек и нянюшек. Малый театр, Островский: тетушек, нянюшек и приживалок – хоть отбавляй. Аля-то, конечно, хотела играть что-то нормальное. Нормальное – это героиня. Бесприданница Островского, три сестры Чехова – любая из них, страстные героини Горького и Толстого, романтические – Тургенева... Но маленькой, смешной, быстро краснеющей, милой, но совершенно некрасивой Але и в этом семестре досталась роль старой негритянской няньки из американской пьесы. У нас было полу-

годие зарубежной классики. Я же первый раз попала к Чукачину, тому самому рыжеватому Леониду Иосифовичу, и получила роль королевы Англии в отрывке из «Ричарда III».

– Поиграем в Шекспира? – ухмыляясь, спросил меня Леонид Иосифович на первой репетиции. – Слова знаем?

– Нет еще.

– Идите в коридор, учите. Перерыв пятнадцать минут – на то, чтобы Кудряшова выучила свой текст. Все загорают, спасибо Кудряшовой.

Остальных он не спросил, знают ли они слова. Я быстро кое-как выучила свой монолог и вернулась. Леонид Иосифович весело смеялся с другими студентками. На самом деле я уже почти успела забыть, как он не хотел принимать меня на курс. За два года я к нему ни разу не попадала. Один лишь раз, на первом курсе, он вставил свое слово и очень веское.

Мы делали этюды на свободную тему, на что-нибудь, связанное с физическим действием. На первое занятие я не придумала вообще ничего, сидела и смотрела, как мои товарищи крутятся в фуэте, поднимают несуществующие гири, что-то заколачивают, ловят машину...

Лучше всех этюд сделал студент Сережа Григорьев из Санкт-Петербурга. Он показывал последним. Крупный, крепкий Сережа вышел, поднял вверх руку и вдруг побежал, спотыкаясь, отбиваясь от кого-то... Было полное ощущение, что кто-то очень высокий и настойчивый тянет и тянет вдруг ставшим маленьким Сережу за руку, а он идти не хочет, сопротивляется, капризничает, устал... Все хохотали, Осовицкая очень хвалила Сережу, поставила ему пятерку с плюсом. Меня же поругала – ну как так, я ничего придумать не смогла!

На следующий день я все-таки придумала себе этюд. В этюдах говорить ничего не полагалось. Этюд у меня был такой: мои друзья, уезжая в отпуск, оставили мне... змею. Чтобы я ее кормила. А она у меня дома пропала. Уползла. Змея ядовитая. Или не ядовитая – объяснить это было невозможно. Просто я больше всего на свете всегда боялась змей, по совершенно неизвестной причине. И вот я стояла, с блюдечком, на котором приготовила еду этой змее, а ее в коробке – не было. Я боялась пошевелиться, наступить на нее. Ведь она могла быть, где угодно.

Этюд мой всем очень понравился, его сразу отобрали на полугодовой экзамен, только Леонид Иосифович обронил:

– Кудряшова, вы, знаете, вместо змеи ищите м-м-м... хомяка, договорились?

– Хомяка? – удивилась я. – Нет, не хочу.

– Хомяка ищите, всё.

– Да нет же! Никакого смысла тогда в этюде не будет...

– Всё, кто следующий? Григорьев!..

Со мной говорить никто не стал, Волобуева некстати вызвали в ректорат. На площадку уже вышел Сережа Григорьев и... снова побежал, как малыш, которого тянут за руку. Мы, конечно, смеялись. Осовицкая не очень довольна покачала головой. А Сережа бежал-бежал по нашей большой аудитории, споткнулся – все думали, что специально, – упал и остался лежать.

– Так, ну всё, Григорьев, хорош уже, вставай! – недовольно произнес Леонид Иосифович, который до этого смеялся вместе со студентами. Он любил непосредственного и чуть не от мира сего Григорьева. – Григорьев, да что такое?

А Сережа на самом деле сломал руку. Неловко упал и собственной тяжестью сломал себе кость в предплечье. Про меня и моего хомяка, понятно, все уже забыли, я и сама забыла, так была поражена этим происшествием.

Позже на экзамене я показала свой этюд, искала хомячка, как мне велели мастера, искала без вдохновения – а что его искать? Захочет есть, сам вылезет.

Леонид Иосифович удовлетворенно похлопал себя по животу и сказал:

– А она не ищет ничего! Вы же видите! Двойка, Кудряшова.

Двойку мне, разумеется, не поставили. Осовицкая меня любила, не говоря уже о Волобуеве.

А сейчас, на этой сессии, все зависело от моей работы с Чукачиным. Мне было страшновато. Мы уже успели узнать, какой крутой нрав у нашего худрука. На первой летней сессии Осовицкая отчислила трех студентов. Одного – за прогулы, другого – красивого, высокого Леву – за хамство, третью – тоже красивую, музыкальную, пластичную Нину, чем-то похожую на меня, но только моложе, – за то, что репетировала одно, а на экзамене показала другое.

– Профнепригодна, – бросила Осовицкая. И всё, даже разговаривать не стала.

«Профнепригодность» – это приговор. Плохой характер – это тоже непригодность. Недисциплинированность, вредные привычки – профнепригодность. Я понимала, что меня сейчас очень легко могут отчислить. У меня характер хороший, и дисциплина тоже, но роль не получается никак. Я не могу ощутить себя королевой Англии. Старой – в сравнении со мной, властной, велеречивой, неприступной, негибкой. Не понимаю, не могу, не знаю, как это играть, о чем, зачем.

...Я зашла обратно в аудиторию.

– Выучила? – спросил Чукачин. – Вставай в центр. Читай монолог.

– Но сцена не с монолога начинается...

– Читай монолог! – закричал Леонид Иосифович. – Кто ставит отрывок? Ты или я?

– Вы.

Я начала читать, запнулась, потеряла мысль.

– Так, все ясно! – махнул рукой Чукачин. – Слушай, Кудряшова, а что тебе переводчицей не работалось, а? Ну не актриса ты, понимаешь? Не актриса!

– Я в театре работала...

– В каком? В каком театре ты работала? Молчала бы уж лучше... Расплодилось этих студий, что поганок, по всей Москве... Так, остальные, вышли тоже и играют! Играют, я говорю, уже, а не в развалочку идут! Слева двое – сядьте, не маячьте!.. Начинай, Кудряшова! Выходи!

Я вышла на площадку, встала, под взглядом Чукачина мне было не очень приятно.

– Ты видишь, где середина?

– Вижу.

– А что ж встала сбоку, как украла?! Ты – королева Англии. Ты пьесу читала?

– Читала.

– Вот вставай, как королева. С руками что у тебя? Где у тебя руки?

– Вот, – я показала обе руки Чукачину.

– Так сделай что-нибудь с ними! Что они у тебя как неживые!

Я подумала и убрала руки за спину.

– Кудряшова! Ты что, стишок на утреннике читать собралась? Что у тебя с руками? Где они?

– За спиной.

Народ начал смеяться. А мне было не до шуток, потому что я видела, как пунцовеет на глазах Леонид Иосифович. Раздувается, закипает от ярости. Он меня ненавидит. Что мне делать? А тут еще эти руки...

– Начинай!

– «Как! Только что вы...» – начала я монолог.

– Что – «как»? Что «как», Кудряшова? Что такое «как»? Это что – вопрос?

– Да.

– К кому это вопрос? О чем?

– То есть нет... Не вопрос. Восклицание.

– Так воскликни!

– «Как...»

– Что ты блеешь? Что ты блеешь? Воскликни, артистка!

– «Ка-ак!» – изо всех сил прокричала я.

– Что ты так орешь, Кудряшова? Ты какую пьесу играешь? Это Шекспир, а ты орешь, как на ярмарке.

– «Как! Только что вы все готовы были

Друг другу в драке глотку перегрызть...»

– Что сделать?

– Перегрызть.

– Не понял.

– Пе-ре-грызть.

– А-а-а... А то я слышу – водка-перекись какая-то.

– У меня хорошая дикция, Леонид Иосифович, – сказала я, несмотря на умоляющие жесты Альки, зашедшей к нам на репетицию.

Она изо всех сил махала мне руками, прижимала их к груди, закрывала себе уши, затыкала рот. Из чего я должна была сделать вывод, что мне надо молча все глотать и не лезть на рожон.

– А – у – меня – хо-ро-шие – уши, Кудряшова! Я слышу, что ты не то говоришь! У тебя каша во рту! «Водку перекись» я слышу! С такой дикцией в тебя зрители ботинками будут бросать грязными, ясно? Давай сначала!

– «Как!...» – в пятнадцатый раз начала я. И замолчала.

– Что?

– Можно выйти?

– Можно выйти и больше вообще на Неглинную, дом шесть, не заходить! Буду тебе очень признателен. Ясно?

– Ясно.

Я осталась стоять где стояла. Я хотела выйти, потому что чувствовала: подступают слезы, а по моему опыту работы в театре я уже знала: хочешь взбесить режиссера – плачь на репетиции. Но сейчас я сдержала слезы, тем более что Алька всячески меня поддерживала, строила рожицы, успокаивала издали.

– Ковтун! Ты что там руками машешь? Ну-ка, выходи на площадку! – Чукачин заметил наконец Альку, которую выделял из остальных студентов. – Давай-давай. Так, текст у кого-нибудь возьми. Кудряшова, присядь, отдохни, перетрудились сегодня. Сделаем маленькую рекогносцировочку... Королевой Елизаветой у нас будет Ковтун.

Алька растерянно оглянулась на меня.

– Давай-давай, смелее, Алевтина! – Чукачин упорно называл Алину Алевтиной, как правило, в отсутствие Осовицкой, которой вряд ли бы это понравилось. И Алька, опытная артистка, с ним не спорила.

– У меня же другой отрывок... – все-таки сказала Алька, видя, как я сижу с опущенной головой. – О' Нил...

– Ничего не слышу! Уши заложило! – ответил ей Леонид Иосифович. – Начинай!

– «Как! – мягко-мягко и дружелюбно начала Алька. – Только что вы все готовы были друг другу в драке глотку перегрызть...»

– Я понял тебя, Алевтина, – усмехнулся Леонид Иосифович. – Да, ты молодец, Ковтун. Годы тренировок, вижу. Поняла?! – неожиданно заорал он в мою сторону. – Поняла, как подружка твоя словами Шекспира меня сейчас за тебя попросила? Второй план! Он или есть или его нет! Не сыграешь! А у тебя – ни первого, ни второго! Пустые слова! Даже не слова – набор бессмысленных звуков! Блеяние! Спасибо, Ковтун, очень помогла! Жаль, что не ты у меня в отрывке! А эта...

Алька, так же миролюбиво улыбаясь, слегка поклонилась Леониду Иосифовичу, шутливо, но внятно, и подошла ко мне.

– Старайся, – она ущипнула меня за ногу, так, чтобы никто не видел. – Старайся, нюни не разводи. Горелым пахнет.

– Хорошо. – Я тряхнула головой, вышла на середину. – «Как! – закричала я Чукачину, имея в виду, как он надо мной издевается. У меня тоже есть второй план! – Только что вы все готовы были...»

Леонид Иосифович дослушал монолог, кривясь, сопя, трогая до бесконечности нос, уши, теребя лацканы теплого пиджака.

– Ужас, – сказал он. – Бездарно. Убого. Никак. Ни-как. Перекур пятнадцать минут. И следующая сцена. Ковтун, не уходи, еще хочу тебе кое-что дать попробовать. Хорошая ты артистка, Алевтина. Кудряшова! Что ты там смеешься? Как с гуся вода? Не получается пока ничего, поняла? Ни-че-го!!!

Так мы бились-бились два месяца над отрывком, и незадолго до экзамена я поняла – меня отчислят. Выхода – никакого. Что бы я ни делала, как бы ни играла, как бы ни меняла отношение, настроение, интонацию – Чукачин багровел при первом звуке моего голоса. В искусстве только так и должно быть, наверно. Нравится – не нравится. Иногда совершенно неумовимо, непонятно почему. Вот как с первой минуты на первом же прослушивании невзлюбил он меня, так и невзлюбил. Так и трясся, видя меня. И хотел только одного – больше не видеть никогда.

За два дня до экзамена я подошла к Волобуеву.

– Что? Как дела? Что такая грустная, Катя? – Волобуев был старшим преподавателем на курсе и формально, да и не формально, а по-настоящему был главнее Чукачина. И мне симпатизировал, я это чувствовала.

– Мне Чукачин собирается двойку поставить на экзамене. У меня очень плохой отрывок, Алексей Иванович... В смысле, я плохо играю...

– Шекспир?

– Шекспир, – вздохнула я.

– Королева...

– Елизавета. Но только я не королева, Алексей Иванович, ну это совсем, наверно, не мое, никакой королевы у меня не получится...

– Что это вдруг? – прищурился Волобуев.

– Ну какая я королева...

– А кто ты? – засмеялся народный артист. – Зайчик с трогательными ушками, что ли? Плечи расправь, говори пониже, не пищи, в пол не смотри – вот и королева настоящая.

– Я...

– Хорошо, – Волобуев потрепал меня по плечу, – не переживай так, я все понял. Давай сегодня вечером, после последней пары, в девятнадцатую аудиторию приходи. Не задерживайся только. А то у меня завтра утром съемка, рано вставать надо.

– Спасибо, Алексей Иванович!

Я никому не сказала, даже, на всякий случай, Альке не обмолвилась, что Волобуев согласился со мной порепетировать. Почему не сказала, не знаю. Может быть, потому что все без исключения, и Алька тоже, были к нему равнодушны. У всех были мальчики, или уже мужья, или женихи, или даже два... Но в Волобуева все девочки были влюблены – безоговорочно. Его нельзя было не любить. Он никогда не ругался, его практически никто и ничто не могло вывести из себя, он был остроумный, всегда свежий, выпавшийся, аккуратный, со всеми вежлив и дружелюбен. Но это не повод, чтобы любить мужчину, нет.

Что-то в нем было от идеала, наверно. Высокий, стройный, статный, мужественный, яркий и... хороший. Не вредил, не интриговал, не унижал, на раз-два-три решал все споры и

ссоры. Полная противоположность Чукачину, одним словом. Но Волобуев никаких провокаций в свой адрес со стороны студенток не допускал. Он отлично знал, что пользуется успехом, и... никак им не пользовался.

Самая смелая попыталась однажды сесть к нему на колени – мягонько так приподнял и убрал ее со своих колен, пальцем погрозил: «Ай-яй-яй!» Вторая попробовала, выпив лишнего после экзамена, отвести его в уголок и прижаться покрепче, услышала то же самое «ай-яй-яй». Я даже и не пыталась. Во-первых, он народный. Во-вторых, женатый. В-третьих – не в очередь же за «ай-яй-яйями» было становиться.

В девятнадцатую аудиторию я пришла без опоздания, Волобуев чуть задержался.

– Ой, прости, Катя! – Он внесся в класс как юноша.

Я залюбовалась им. Да, жалко, что он женат. Может, и я бы тоже подошла к нему...

– Текст дай мне, – попросил Волобуев. – Что ты улыбаешься? – удивился он.

– Да нет, – смутилась я. – Это я так...

Волобуев пробежал глазами текст.

– О чем речь, понятно?

– В общем, да...

– Ясно. Садись, поговорим.

Мы быстро разобрали отрывок, он вышел, встал рядом со мной – вот уж кто король так король, истинная правда.

– Смотри на меня и делай то же самое, сильно не задумывайся, что да зачем, настройся просто на меня и повторяй.

Я, как замороженная, повторяла за Волобуевым, а он играл королеву Англии Елизавету. Волобуев повышал голос, шептал, резко начинал ходить по сцене, и я следовала его рисунку.

– Как-то все по-другому... – поразилась я, когда мы дошли до конца. – И смысл даже другой получается.

– О, ты даже смысл уловила, – засмеялся Алексей Иванович. – Молодец. Теперь давай сама.

Я встала, посмотрела в его добрые светящиеся глаза – ну что делать, если в них и правда всегда был свет, много света, яркого, солнечного, – растворилась в них и проиграла весь отрывок. Он кидал мне реплики за остальных персонажей. Один раз остановил меня, вышел из-за стола, взял за руку повыше запястья:

– Продолжай, Катя, не обращай внимания на меня.

От его прикосновения мне стало горячо, застучало сердце. Слова говорились сами собой. То были слова ненависти, но меня переполняло совсем другое.

Волобуев вернулся за стол, так же спокойно и дружелюбно смотрел на меня, слегка отступив ритм:

– Не забывай, что это стихи. Ну что, Кудряшова, молодец. Не будет у тебя за это двойки. И без всякой двойки или тройки – ты молодец, я в тебя верю.

– Правда?

– Правда, – улыбнулся Волобуев. – Тебе в какую сторону?

– Мне к метро.

– Пойдем, до машины меня проводишь.

Пока мы шли до машины, Волобуев спросил меня, с кем я живу. Я ответила – с мамой.

– Замужем не была? – спокойно спросил он, открывая машину.

– Нет, – покраснела я.

Ну почему же мне так стыдно, что у меня ни одного нормального романа до сих пор не было, а не то что замужества!

– Хорошо, – кивнул Волобуев. – Я так и думал. Все, Кудряшова, иди домой, высыпайся. Главное – режим.

Я неожиданно для самой себя приподнялась на цыпочки и поцеловала народного артиста в гладкую, хорошо выбритую щеку.

Волобуев удивленно посмотрел на меня.

– Ты в этом уверена? – спросил он.

– Нет, – растерялась я.

– Никогда не целуйся, если не уверена! – засмеялся Волобуев. – Все, пока! Иди, Катя, отдыхай.

Он уехал, а я еще несколько минут постояла. Он – не сказал – «ай-яй-яй»! Всем говорит, а мне – не сказал! Может, просто забыл? Да нет, вряд ли. Волобуев не опаздывает, ничего не забывает никогда...

Я летела домой на крыльях – радости, любви, юности.

На экзамене я постаралась зачерпнуть из его глаз все, что могла, и с этим стала играть отрывок.

– Хорошо, – благосклонно кивнула Осовицкая, когда мы закончили.

Я видела, как яростно усмехнулся Чукачин. Брови его изогнулись в подобии греческой буквы мю. Багрово-красный, он дергал себя за ухо. Волобуев молча улыбался.

– Да, хорошо, молодцы все, – высказалась и наша четвертая преподавательница. – Леонид Иосифович просто чудесный отрывок сделал. И Катя Кудряшова так хорошо ведет его...

Другие педагоги, не наши, кто пришел на экзамен, согласно кивали.

Чукачин наклонился к Осовицкой и стал что-то ей говорить. Наша худрук удивленно на него взглянула и отрицательно покачала головой. По тому, какой бешеный взгляд метнул на меня Чукачин, я поняла – обо мне говорили. Просил, наверное, чтобы поставила мне двойку. Или тройку! На худой конец! Хотя с тройкой уже не выгонишь. Профпригоден. Плохо учишься, плохо играешь, но артистом есть шанс стать. Тем более что все так субъективно...

После экзамена я подошла к Волобуеву.

– Спасибо, Алексей Иванович! – искренне сказала я. – Если бы не вы, меня бы выгнали.

Он похлопал меня по спине.

– Спина, взгляд, режим. Договорились?

– И не пищать, – добавила я, растворяясь, растворяясь в светящихся глазах Алексея Ивановича.

– Ни в коем случае! – засмеялся он. – С Алькой не выпивай, поняла? А то они там, в общежитии, позволяют себе. Договорились? – повторил он.

– Договорились, – почти шепотом ответила я. По-другому отвечать от переизбытка эмоций я не могла.

Это было не очень легко на самом деле. Увлекательно, ново, ярко... Но не очень легко. Месяц, два, три я грелась и грелась от своей влюбленности. А потом как-то затосковала. Волобуев был так же ровен со мной, дружелюбен, даже выделял среди других студентов. Всегда помогал, хвалил, спорил с Чукачиным, безусловно побеждая того в спорах, – Осовицкая благоволила к Волобуеву, вместе с ним играла в театре, да и вообще его обаяние распространялось на всех. Он больше не отдавал меня другим педагогам – до самого выпуска я играла только в волобуевских отрывках. Иногда я провожала его до машины после репетиции. Иногда ждала после спектакля в Малом, и мы чуть-чуть прогуливались туда-обратно в скверике перед Большим театром.

Подсаживаться к нему на колени я не решалась. И была права. Все за это время уже попробовали присесть. Результат у всех был одинаковый. «Ай-яй-яй». Пару раз я еще целовала его в щеку. Он только смеялся. И ничего не говорил. И я знала – так хорошо, как есть. И не должно быть ничего другого. Но...

К концу года я стала маяться. Ну как же так? Либо мне надо разлюбить его, либо... Разлюбить не получается. Но и другого ничего тоже не получается. Я загрустила. Он первый это заметил.

– Катя, задержись-ка, – кивнул он мне как-то после репетиции. – Иди сюда. Что?

– Ничего.

– Садись, говори. Дома что-то?

Неужели он ничего не видит? Ничего не понимает? Как я измучилась, как он мне нужен. Я подняла глаза.

– А! – сказал Волобуев. Неожиданно он погладил меня по голове. – Вот я так и думал. Ты хорошая девочка, Катя.

– Но вы меня...

– Но я женат. И тебе желаю только счастья. Мы бегать с тобой по углам не будем. Хорошо? Что я могла сказать?

– Плохо! – ответила я.

– Глупая. – Волобуев слегка притянул меня к себе и, едва коснувшись губами моих волос, встал. – Все хорошо. Гораздо лучше, чем ты даже можешь себе представить.

Я ничего не поняла. Но маяться почти перестала. Волобуев ко мне относился так же. Я его любила, как любила. И жила, зная – все будет хорошо и все еще впереди. И это впереди – совсем недалеко. Надо только терпеливо дожидаться его. А пока – режим, спина, взгляд... И – «не пицать»!

Мои педагоги активно уговаривали меня говорить на несколько тонов ниже, мне это было трудно, на некоторое время это заняло все мои помыслы. Ну как это – говорить не своим голосом? У меня голос мамин – легкий, светлый, высокий, переливчатый. А меня просят говорить «из груди», и не только на сцене, но и в жизни, чтобы привыкнуть, чтобы голос своим стал. И я с утра до ночи боролась со своими разными голосами, уже не понимая, где мой голос, где не мой, как мне говорить...

А тут и лето подошло, экзамены, мне дали отрывок из «Бесприданницы». Волобуев неожиданно выбрал отрывок, где Лариса только сидит и молчит, и лишь в конце поет, а всё играет мама ее, Огудалова, «тетенька», как зовет ее у Островского Паратов. И маму дали играть мне. Маму! Не бесприданницу! Вот тут я растерялась.

Это значит, вот для чего они меня заставляли спину держать, ноги ровно ставить, в узел не сплетать, и говорить на пол-октавы ниже – чтобы давать мне играть матушек и тетушек? Я расстроилась, но делать было нечего. Алька была со мной солидарна, мы ходили и бубнили, бубнили – ей, как обычно, ничего играть не дали. А что сыграешь с такой внешностью? Сильно постаревшую Дюймовочку разве что. Или веселую няньку.

На мое счастье, девушка, Тоня Кошкина, которой дали Ларису, с ролью, даже молчаливой, никак не справлялась. Ее только что взяли на курс, на третьем году обучения, все шептались, что взяли по какому-то звонку, чего у нас обычно не бывало. Учились все абсолютно с улицы, как я, – не было ни детей народных артистов, ни каких-то известных фамилий.

– Кошкина! – расстраивался Волобуев. – Что же ты так стоишь, животом вперед? Втяни, пожалуйста, живот, ну что же такое! Ты же Лариса Огудалова, красавица, в которую влюблены все купцы в городе и не купцы, и красавец Паратов, ну, что ты?

Тоня смотрела на него грозно из-под густых бровей и переваливалась на другой бок полным неловким телом.

– Ты на танец ходишь?

– Хожу.

– А что с пластикой тогда? Ну встань как-то, пожалуйста... Да, вот так, например... Или сядь... Катя, ну а ты, какая ты Огудалова? Что ты смотришь несчастными глазами? Огудалова знает, что ей нужно. Ей нужно выдать дочку нормально замуж, понимаешь?

– Нет.

Волобуев только разводил руками.

– И что мне с вами делать?

Мы с Алькой, кажется, догадались, почему они взяли такой отрывок – чтобы я поиграла, сцена была очень драматичная, а Тоня спела – она пела грудным, довольно крепким голосом, как раз подходящим для романсов. Осовицкая, сама отменная певица, очень любила, чтобы обязательно кто-то пел на экзамене.

– Так, всё, – сказал как-то Волобуев, – меняемся! И отрывок другой берем. Давайте-давайте, на раз-два-три! Была дочка, стала мама, и наоборот. Довольна, Кудряшова?

Я была очень довольна, потому что в то время смириться с ролью матери, у которой третья дочь на выданье, даже в учебном отрывке не могла. Тоня, кажется, не слишком расстроилась, – ей все равно дали спеть, она пела романс бесприданницы, а я Ларису играла. Тоня пела лучше меня, а я была внешне похожа на Ларису Огудалову и играла ее с удовольствием. Вот это – мое! Большая, всепоглощающая любовь, надежда до последней секунды, трепет, просто как будто Островский все про меня знал!

На экзамене Чукачин, который до этого не видел отрывок и был не в курсе всех наших перипетий, шумно крутился, дергал себя за уши, кричал. Поставили мне пятерку с минусом, минус за то, что пела не я. Но я уж зато всё сыграла, что могла в тот момент, – всю свою неизрасходованную любовь к прекрасному далекому Волобуеву, подтянутому, дисциплинированному, сияющему, звездному. И очень тепло относящемуся лично ко мне. Лучше, чем к кому бы то ни было на курсе. Кто-то уже даже начал подтрунивать, говорить лишнее. Как мне было обидно – ведь на пустом месте! Не было не только того, о чем судачили злые языки, – не было вообще ничего. Кроме моих вздохов, коротких прогулок вокруг фонтана на Театральной площади, теплой улыбки Волобуева и его всяческой поддержки. Но этого же мало! Этого же совершенно мало, когда в окно звенит поздняя весна, когда такие теплые долгие ночи в июньской Москве, так не хочется отпускать его руку, так долго ждать до утра, когда снова в класс войдет стройный, улыбающийся, сдержанный и совершенно недосягаемый Волобуев.

Пришло лето. Каникулы. Я обнаружила, что у меня совершенно нет денег. Мне хотелось куда-то поехать, на море, например. Но это было нереально. Можно, конечно, провести все лето в парке, ездить к маме – я теперь жила отдельно, и по старой памяти гулять по берегу реки, по сто раз хоженным дорожкам... Нет. Я думала-думала и надумала. Я должна пойти работать. Куда? Ясно куда – в театр.

Я стала звонить по театрам и спрашивать, можно ли им показаться. Услышав, что я только закончила третий курс, мне советовали сначала доучиться, получить диплом, а потом уже устраиваться на работу. Кто-то уточнял, сколько мне лет. «Двадцать... пять», – отвечала я, сбавляя себе полтора года. «У нас семь человек сидят без ролей. И всем двадцать пять только что стукнуло. Вот было бы вам семнадцать... Нам молодая героиня нужна». Как – семнадцать? Неужели кто-то в семнадцать приходит в профессиональный театр, и его берут? И что – я уже не молодая?

Я еще подумала и позвонила в «Экзерсис».

– Приходите, – коротко сказал мне Марат.

Я подготовила отрывок, монолог, но он ничего слушать не стал.

– Нравится учиться? – спросил он, закурив прямо в зале и открыв пошире окно.

Опять лето, как тогда, когда я пришла первый раз. Только теперь я уверена в себе, теперь я знаю актерские секреты, я победила Чукачина, я полюбила Волобуева, мне благосклонно улыбается Осовицкая, у меня самая лучшая и верная в мире подружка Алька, я успела сыграть бесприданницу, королеву Англии, Елену Трубецкую – пусть в отрывках, но примерила на себя такие роли!

– Нравится, – кивнула я.

– Будете успевать учиться и работать?

– Буду.

– Хорошо, – Марат затушил сигарету и на мгновение поднял на меня темные глаза. – Идите к Никите Арсентьевичу, отдавайте трудовую. Репетиция в следующий понедельник, будет читка, Булычев нам пьесу написал.

Я не стала спрашивать, есть ли там роль для меня. Наверняка есть – теперь будет, так уверенно он мне сказал: «Репетиция – в понедельник».

– Вы изменились, – обронил напоследок Марат, замерев, повернувшись ко мне спиной и по-птичьки вывернув шею.

Я молча кивнула, потому что не знала, что на это сказать. Я сама чувствовала, что изменилась. Но в театре мне было хорошо. Знакомые стены, я же здесь целый год проработала, знакомые запахи, волнующее ощущение, когда из зала ступаешь на маленькую деревянную сцену, расположенную прямо вровень с первым рядом...

– Вернулись? – без лишних предисловий спросил меня Никита Арсентьевич. – Что так?

– Деньги нужны, – коротко и тоже без особых церемоний ответила я.

– Грубо, Кудряшова, грубо.

Я успела увидеть, что среди фотографий в фойе появились две новые – две актрисы, одна совсем взрослая, другая чуть старше меня.

– Нам, конечно, нужна героиня, скромная и незаносчивая... – проговорил директор, ненароком оглядев меня.

– Таких не бывает, – ответила я, удивляясь, как я хорошо теперь себя ощущаю с Никой и вообще в театре. Теперь, когда у меня за спиной – народные артисты и заветный щепкинский дворик.

– Бывает, Кудряшова, бывает... – приговаривал Ника, быстро заполняя мою трудовую книжку.

Я смотрела на аккуратные, какие-то слишком затейливые буквы, которые выписывал Ника, и не могла понять, отчего у меня такое хорошее настроение. Ведь все пока идет не так, как я думала. Я ушла из этого театра насовсем! И вот я опять здесь. И мне совершенно не грустно. Наоборот!

– Что? – поднял он на меня глаза, и я тут же вспомнила Тасины рассказы, что у Ники совершенно необычный цвет глаз. Темно-серые. Да, правда. Удивительно. Очень красиво.

– Ничего, – пожала я плечами и независимо отвернулась.

Так и правда ничего. Что мне Никины глаза? У меня любовь. Заменить Волобуева не может никто. Самая верная любовь – платоническая. Откуда я это знаю? Ведь я не испытывала другой любви. Знаю. Мы многое знаем, чего с нами не было и быть не могло. Живем-живем и как будто вспоминаем – за кого-то другого.

Ника тоже изменился за эти три года. Больше молчал, меньше шутил, замкнулся, сменил штаны-галифе и растянутую матроску на неброскую, но довольно приличную одежду, приобрел машину, новенькую, темно-вишневую, и, главное, больше не обжимался в углах с Тасей. Потому что Тася вышла замуж и уехала с мужем из Москвы.

У Ники теперь была новая пассия, крошечная гримерша, похожая на чумазого кукленка. Хорошенькая, с быстрыми глазками, острым носиком, взбитыми пепельными кудряшками. Про директора с Полей знали все, хотя их отношения никак не проявлялись. Тася-то поджидала всюду Никиту Арсентьевича, ковыляла за ним по коридорам, плакала, не таясь, а гримерша даже не смотрела в его сторону, а он в ее, но молва упорно твердила: навещает наш директор гримершу в ее съемной квартирке рядом с театром. И не по профсоюзной линии навещает – совсем по другой.

На первой же читке я поняла – да, точно, мое положение в театре изменилось. Мне дали хорошую роль, я уверенно читала, мне были понятны вопросы других актеров, вообще

я больше не была растерянной выпускницей МГУ, над которой подтрунивали и посмеивались опытные актеры. Я чувствовала себя спокойно. Если бы не внимательный взгляд директора, мне бы было совсем хорошо. Я не могла понять, почему он так пристально наблюдает за мной, невзначай заходя в зал на каждой моей репетиции. Поначалу я не придавала этому значения. Но заметили другие.

– Невзлюбил тебя что-то директор, Кудряшова... – говорил мне полный Валера Спиридонов, недавно пришедший в театр и ставший на долгое время фаворитом Марата. Весь пышный – с рыжими кудрями, курчавой бородой, пухлыми белыми пальцами, он стал играть все главные роли, даже если роль не подразумевала таких габаритов актера, и по совместительству исполнял обязанности зав. труппой.

– Почему? Смотрит себе и пускай смотрит.

– Он не просто смотрит, он... – Валера усмехнулся, – изъяны выискивает... Будь осторожна с ним.

Я поначалу верила в искренность Спиридонова, толстые люди часто кажутся обманчиво доброжелательными и беззащитными, мне, по крайней мере.

– Почему осторожна? Какие изъяны?

– Я тебе добра хочу, как старший товарищ говорю. Не расслабляйся.

Я действительно постоянно чувствовала на себе пристальный неласковый взгляд Никиты Арсентьевича, но мне это неожиданно стало нравиться. Я, конечно, хорошо помнила, как три года назад он мне казался законченным подлецом – Тася там, Тася тут, там еще дитя грудное в придачу, здесь – вечно мокрый унылый нос и несчастные глаза с белесыми ресницами, преданно смотрящие на ускользающего Нику...

Но я ничего не могла с собой поделать. Сейчас несчастным казался мне он. Несчастливым и одиноким. Он часто приводил своего маленького сынишку в театр. И смотрел на женщин, красивых и некрасивых, смотрел насмешливо, иронически, как будто знал что-то такое про них, что не давало ему возможности иначе к ним относиться. А на себе я иногда ловила как будто даже враждебный взгляд.

Что тут могло нравиться? Почему несчастным? Я видела, что это маска, интересная маска, двойная. Зло-ироническое отношение к женщинам скрывает какую-то тайну, что ли, какую-то душевную боль. Что-то там дальше, за этой болью еще – очень притягательное, что-то непростое, и так хотелось заглянуть за эту маску, увидеть настоящего Нику. Ну и вообще. До института был почти целый месяц. Сколько можно мечтать о Волобуеве, который сейчас где-то на Гоа, как написала мне Алька, а ей по секрету рассказала еще одна наша однокурсница, а той – сама Осовицкая!

\* \* \*

У нас отменился спектакль, потому что во дворце культуры, где располагался наш театр, на большой сцене устроили концерт популярной группы, и в нашем маленьком зале была слышна громкая музыка, играть было невозможно. наших немногочисленных зрителей Ника провел в большой зал на концерт.

Все артисты уже разошлись домой, а я все никак не могла собраться, мне было ужасно жалко, что не состоялся спектакль, я так готовилась, сосредотачивалась, это была моя первая роль после перерыва, большая, хорошая, с любовными переживаниями, так мне теперь понятными. Я волновалась, не спала всю ночь, уснула только под утро, и вот – на тебе, ничего не сыграли.

Я вышла из зала последней. Ника разговаривал в фойе по телефону.

– Подождите, пожалуйста, пару минут! – сказал он мне.

Я села в кресло и, пользуясь тем, что он стоял ко мне боком, принялась ненароком его разглядывать. Что в нем так изменилось? Сколько ему на самом деле лет? Тридцать? Тридцать пять? Прошло всего три года, а мне кажется, что он стал старше лет на пятнадцать. Спросить вроде неудобно.

– Скажите мне, Катя, как у вас теперь с деньгами? – без обиняков начал директор, присаживаясь рядом.

– А сколько вам нужно, Никита Арсентьевич?

– Не остроумничайте, Кудряшова. Вы говорили, что у вас плохо с деньгами.

– Я получила аванс, спасибо.

– Может быть, у вас какие-то проблемы, вам не нужно помочь?

Я не понимала, к чему он клонит.

– У меня все хорошо.

– Вас не обижают у нас в театре?

– Нет.

– Хорошо. Если будут обижать, обращайтесь ко мне. Вам идут очки, зря вы их все время снимаете.

– Спасибо, – я машинально поправила очки, хотя они и так нормально сидели у меня на носу. – Глаз не видно из-под очков.

– Кому надо – увидят, – усмехнулся директор. – Подвезти вас?

– Я живу на противоположном конце Москвы.

– Могу подвезти в центр, я еду на Сретенку.

Мне не было никакого смысла ехать с директором до центра. Моя станция метро находилась ровно с другой стороны ветки метро – села и поехала, без пересадок.

– А как же Поля? – спросила я Никиту Арсентьевича.

Маленькая гримерша как раз уже пару раз выглядывала из буфета, но окликать директора не стала, не решилась. Только остренько взглянула на меня.

– Поле-поле-полюшко-о... – пропел Ника. – Пойдемте, Кудряшова. У меня со всеми актерами контакт налажен, с вами только что-то никак. Поговорим, расскажете, чему вас учат народные артисты... Забавные у вас сапожки...

«Сапожками» Никита Арсентьевич назвал мои ботинки – удобные, из мягкой синей кожи, в которых можно часами ходить по Москве.

Я взглянула на директора, но отвечать ничего не стала. Какой-то странный разговор.

– Почему вы так одеваетесь? – продолжал он, и я никак не могла понять, что он на самом деле хочет спросить. Его действительно интересует, почему я ношу ту или иную одежду и обувь?

– Как?

– Вы не похожи на артистку.

– Это плохо?

– Это забавно. Нет, не плохо. Но вам бы пошли каблочки, я думаю. Высокие, острые. У вас как раз очень тонкие щиколотки.

Никогда ни с одним мужчиной я на такие темы не разговаривала. С Алькой – да, только недавно обсуждала, что носила бы каблочки, да из-за высокого роста не решаюсь. К тому же на них часами гулять не будешь. А я люблю ходить пешком, мечтать, размышлять...

– Я люблю гулять, – объяснила я директору. – На каблуках неудобно.

– На каблуках неудобно... – повторил он, явно думая о чем-то другом. – Садитесь, – он открыл дверь чистой аккуратной машины. – До Сретенки, да? – спросил он, как будто это я просила его подвезти меня.

Я пожала плечами. Не понимала саму себя. Что мне нужно в этой машине? Почему я села? Я ведь то и дело ловила настороженный и ревнивый взгляд Поли, я знала про жену Тасю,

хорошо ее помнила – милую, серьезную; я видела маленького Егора – сына директора, трогательного мальчика с большими задумчивыми глазами. Конечно, я ничего плохого не делаю... Почему только у меня так стучит в голове и совершенно не хочется уходить?

Директор включил зажигание, а я открыла дверцу, чтобы выйти.

– Вы что, Кудряшова? – удивился Никита Арсентьевич.

– Я лучше пойду, – ответила я.

– Оставьте дверь в покое, – он мягко снял мою руку с дверной ручки и, перегнувшись через меня, сам захлопнул дверцу. – Мне Марат поручил контакт с вами наладить. А то вы в коллектив не вписываетесь, сторонитесь всех.

Я точно знала, что это неправда. Точно! Но осталась сидеть в машине. Сколько раз я потом об этом жалела...

Директор молча, без улыбки, смотрел на меня, и меня как будто захлестнула горячая странная волна, пробежала по всему телу, до самых кончиков пальцев ног, и отозвалась в голове приятным теплым звоном. Я помотала головой. Это что? Наваждение какое-то.

– Нет, я пойду, – я снова открыла дверь машины.

– Глупости! – улыбнулся Никита Арсентьевич, так же легко захлопнул дверцу, на сей раз сильно прижав меня к сиденью, и автомобиль тут же тронулся с места. – Кудряшова, давайте вы не будете выпрыгивать на ходу, договорились? Ну, рассказывайте, – он сказал это так, как будто я на секунду прервала свой интересный рассказ.

– О чем? – спросила я, не зная, как мне реагировать. Не очень люблю такого насилия. Но это же игра? Это же все не по-настоящему? Мне нечего бояться, нечего стыдиться... Меня предупреждал Валера Спиридонов, но ведь о чем-то другом?

Директор не ответил. Я тогда еще не привыкла к этой его удивительной манере, удобной для него и совершенно неуловимой для неподготовленного человека. Если Ника не хотел отвечать, его невозможно было заставить сказать ничего путного.

Сейчас директор стал что-то напевать, как будто не обращая на меня никакого внимания. Так мы и ехали. Я терялась в догадках – и насчет него, и насчет себя, что такое со мной, почему я подчиняюсь этому человеку, – а он негромко напевал. Пел директор хорошо, почему-то по-украински. Я не стала спрашивать, слушала неизвестную мне красивую мелодию.

– Как у вас в личной жизни? – легко спросил директор.

– Все хорошо в личной жизни, – постаралась без заминки ответить я.

Не говорить же мне с ним было, как когда-то с Волобуевым – откровенно и искренне. Нет, здесь все совсем по-другому. Да и что я могла сказать? Что живу теперь одна, в бабушкиной квартире, немного тоскую от одиночества, но к маме обратно не переезжаю, привыкаю к самостоятельности, а то у меня и так детство затянулось... Что я люблю народного артиста, а он мне покровительствует, да и только? Смотрит добрыми глазами и не дает в обиду? Интересно, что бы Ника ответил. Но я о Волобуеве даже не обмолвилась. К чему? Это мое тайное, точно не с директором этим делиться.

– Я-я-сно... – протянул директор и снова стал напевать.

– А у вас как в личной жизни? – спросила я через некоторое время.

– У меня? – засмеялся Никита Арсентьевич. – Ты, что, Кудряшова?

– Мы на «вы», – напомнила я.

– Вы что, Кудряшова, – тут же поправился директор, – разве вы не знаете, что я счастливо женат?

Я не нашлась что ответить. А зачем тогда я еду с ним? Но ведь я не для того еду, чтобы... Чтобы – что? На прямой вопрос, поставленной самой себе, ответа у меня не было. Даже если он где-то глубоко внутри меня и прятался, я его наружу не пустила. От этого мне стало нехорошо.

– Открыть окошко? – покосился на меня директор. – Вы что-то бледная. Не беременная? Он спрашивал серьезно.

– А что, Кудряшова, как вы думаете, я же должен знать. Вот вы не пьете, не курите. А почему? А вдруг Марат вас взял на работу, а вы нам р-раз – и в декрет ручкой помашете. А мы на вас рассчитываем. И придется вам три года ни за что деньги платить.

Директор говорил легко, как будто несерьезно, а я по-прежнему не могла понять, шутит ли он или на самом деле хочет что-то обо мне узнать. Может быть, я неверно поняла его приглашение? А как я его поняла? Как признание в... В чем? Какое слово тут подойдет?

На мое счастье, мы подъехали к Сретенке. Добираться отсюда до дома мне было крайне неудобно, но я говорить ничего не стала.

– Спасибо, – кивнула я, открывая дверь.

– На здоровье, – кивнул мне в ответ директор. – Мне, конечно, отсюда очень неудобно возвращаться, но раз уж вам так надо было на Сретенку...

Я во все глаза смотрела на Нику. Он издевается надо мной?

– Мне?

– Шучу, Кудряшова. Ну, как вы не можете привыкнуть к моим шуткам. Ничего, будем работать в этом направлении. Хотите, я завтра вас на репетицию подвезу?

Я точно знала, что директор живет где-то возле работы, значит, очень далеко от моего дома.

Я покачала головой.

– Тогда договорились, – улыбнулся Никита Арсентьевич, как будто я согласилась. – Я как раз буду забирать партитуру у композитора, он, кажется, на соседней с вами улице живет. Маршала Конева, есть ведь рядом с вами такая улица?

– Есть.

– Вот и отлично. Репетиция в два, я буду у вас в... двенадцать. Не рано?

Он это сейчас придумал или все заранее рассчитал? Я не успевала за ним, я так не привыкла, я не понимала, что он от меня хочет. Может быть, ему и правда Марат поручил со мной пообщаться? Ведь я ничего о них не знаю. И когда работала в первый раз, не успела ни в чем разобраться. Я упивалась тем, что я артистка, радовалась ролям, волновалась, дружила с Тасей, слушала ее бесконечные рассказы и совершенно не задумывалась о чем-то другом.

Я вообще ничего не ответила директору, помахала рукой и ушла, чувствуя на себе его спокойный и непонятный мне взгляд. Приедет так приедет. Знает, значит, куда ехать. Посмотрел мой адрес. Ну да, ведь у него в документах все про меня написано. Все да не все. Про Волобуева там точно ничего не сказано! Я сама себе напоминала про свою верную любовь, и чем больше напоминала, тем несерьезнее мне все это казалось. Вот ходит сейчас Волобуев по Гоа со своей красавицей женой Натальей... Почему красавицей? Ее никто не видел, она не актриса, но уж наверняка красавица.

Мы как-то звонили ему с девчонками, хотели отпроситься с мастерства, чтобы сходить на спектакль. Трубку со смехом передавали друг другу, пока она не оказалась у меня. К телефону подошла его жена.

– Слушаю, – сказала она крайне доброжелательно.

– Можно попросить Алексея Ивановича? – как можно спокойнее произнесла я, а девчонки, как назло, стали хихикать и фыркать в трубку.

Жена Волобуева неожиданно тоже весело засмеялась.

– Леша! – крикнула она, все так же смеясь. – Тебя тут девочки, иди!

Так я ее с тех пор себе и представляла – легкая, веселая, наверняка ослепительно красивая – ну не может быть другой жены у солнечного Волобуева.

Простившись с директором, я не сразу поехала домой, погуляла немного по центру Москвы. Тогда еще по Москве можно было гулять, не рискуя отравиться угарным газом, и было это на самом деле не сто лет назад, гораздо меньше.

«Простите, Алексей Иванович! – придя домой после непонятного разговора с директором, сказала я маленькому портретнику Волобуева, который стоял у меня на книжной полке. – Вот вы нежитесь под солнцем на далеком Гоа со своей Натальей, а я, кажется, влюбилась. Не могу сказать, что очень удачно. Думаю, совсем не так, как вы мне желали. Может быть, мне все это и вправду только кажется».

Ничего этого не нужно, – объясняла я сама себе вечером, ложась спать. Нужно уйти завтра до того, как приедет директор, если он действительно приедет. Не нужно даже ничего такого начинать. Не такой ведь любви я ждала столько лет. Кто мне говорил о любви? Никто. Но сердце мое стучало, в голове было горячо, когда я вспоминала серьезный, без улыбки взгляд Никиты Арсентьевича и его случайное прикосновение, когда он, перегнувшись через меня, закрывал дверцу.

Может, мне действительно как-то по-другому одеваться? Неожиданная мысль прогнала сон. Я привыкла с детства одеваться как мальчик. Может, поэтому у меня и кавалеров мало? Точнее, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня – так, кажется, раз и навсегда написал поэт Евтушенко в то время, когда моя мама еще только ждала своей любви.

Учась в университете, я одно время пыталась переводить стихи, женскую лирику. Сейчас в голове, занятой чем угодно, только не отходом ко сну, сами собой всплыли четыре строчки из одного стихотворения венгерской поэтессы. Мне очень нравился поэтический стиль, оригинальность рифм, не нравилось только беспрочно упадническое настроение.

И с тоской – в невозвратное – «рано!»  
Кто же гнал это время так рьяно,  
Кто столкнул с наивностью пьяной,  
В канаву проигранных лет...

Почему всплыло это четверостишие? Как предостережение? Или какое-то знание того, чего еще не было? А так бывает? Еще ничего не было, но ты уже знаешь, как будет потом. Вообще-то я не пессимист, верю только в хорошее. И не трус. Так откуда такие настроения? Слишком это не похоже на ту любовь, которая должна была ко мне прийти. Светлым январским утром, когда на улице мало народу. Воскресенье, все спят. Я иду по заснеженной улице. Деревья в пушистых белых шапках. Солнце неяркое, небо чуть затянуто дымкой. Я иду и знаю – там, впереди, меня ждет счастье. Хорошее, светлое, настоящее.

Почему утро не весеннее, не летнее, даже не осеннее, я ведь очень люблю осень? Не знаю. Но эту картинку я вижу с детства.

Сейчас же август. Москва пыльная, вечера уже темные, но еще лето. Лето – во всем. На улицах мало детей, не вернулись пока к школе, я езжу иногда купаться на реку. От реки до маминого дома – семь минут пешком. Я плаваю, иду к маме и ничего не говорю ей о своих сомнениях. Как об этом скажешь?

На балконе у меня цветут яркие оранжевые бархотки. У них терпкий горьковатый запах и пышные твердые шапочки соцветий. Лето. Все не так, как я думала. И тревога, которая не проходит. Ведь Ника женат. Зачем он так пристально на меня смотрит? Пристально и неласково. Зачем подвозил? И как мне быть с тем, как горячо и тревожно мне становится под его взглядом? Тревожно и радостно, и волнительно.

Я постаралась прогнать так некстати всплывшие строчки про канаву, в которой пропали чьи-то годы, и уснула.

\* \* \*

На четвертом курсе Университета у меня появились шансы узнать о жизни больше. То ли я загорела в то лето, то ли как-то повзрослела. Мне неожиданно пошел загар, хотя у нас в семье всегда был культ «беленьких» – белокожая мама, красавица бабушка с нежнейшей кожей, словно только выпавший снег где-нибудь очень далеко от Москвы, загорать было не принято. А тут я поехала в стройотряд собирать алычу и волей-неволей загорела.

От загара я стала чуть старше на вид, гораздо меньше похожа на мальчика-вундеркинда, который поступил в Университет в двенадцать лет, именно так обычно и думали, не веря, что мне уже восемнадцать, девятнадцать, а скоро будет двадцать... Исчезли веснушки, выгорели и отросли волосы, мама купила мне красивое джинсовое платье с кокетливыми вставками из цветастого ситчика.

И за мной стали ухаживать трое. Друг о друге они, скорей всего, не догадывались. Народу у нас училось много, если за ручку ни с кем не ходить, так и непонятно, просто так ты пьешь кофе вместе с восточным мальчиком, от взгляда которого зажигаются спички в руках у поварихи, или же он хочет тебе рассказать что-то исключительно интересное и – «ттолько тебе адыной!».

Из моих троих ухажеров как раз один был такой, второй тоже был с Кавказа, но иной природы, флегматичной, третий был наш, русский, из Подмосковья.

Второго звали Гоги Кушнадзе, он был сыном главного архитектора города Тбилиси; мальчика выгоняли и снова принимали раза три, он совсем не хотел учиться.

Зажигал же спички и девичьи сердца Аслан Тумаев, комсомольский активист, аспирант, горячий кабардинец, зарастающий бородой от ключиц до самых глаз. Щетина росла у него так быстро, что к пяти часам его тщательно выбритое ранним утром лицо становилось все темнее и темнее от пробивающейся бороды.

Третий был тоже аспирант, Витя Плакин, дружелюбный, улыбчивый, его портили лишь крупные рябинки на милом простоватом лице.

Мне были симпатичны все трое, в разной степени, но больше всех – Гоги.

Кушнадзе был высокий, белокожий, ходил как князь – вальяжно, никуда не торопясь. Во всей его фигуре была царская нега и уверенность во всем – в себе, в жизни, в своих победах. Но девушек у него не было, по крайней мере, на курсе, хотя заглядывались на него многие. Тонкие черты лица, трепетные ноздри, ясные глаза, прекрасно одет, ничего не боится, никуда не спешит, много не говорит... Плохо учится – но не от глупости, а по юношескому легкомыслию и избалованности.

Когда Гоги пригласил меня прогуляться, я удивилась. Мне казалось, что он вообще ходить не любит. Мы часто видели с девчонками, как он подкатывает до забора нашего гуманитарного корпуса на такси, и потом неспешно идет к главному входу, как будто гуляет в жарком солнечном саду, наслаждаясь пением птиц и ароматами цветов, даже если все остальные бегом бегут, боясь опоздать на лекцию.

Мы действительно прошлись с ним по огромной зеленой территории МГУ, а потом Гоги предложил:

– Хочешь попробовать аджарули?

– А что это?

– Мне мама прислала вчера, – сказал Гоги. – И аджарули, и сациви, и ачма... Вино есть домашнее.

– Я вино не буду, – предупредила я.

– Хорошо, – кивнул Гоги. – Поехали.

И я поехала, хотя обещала маме никогда не ездить в гости к мужчинам. Поехала, потому что он так трогательно сказал: «Мне мама прислала». Плохой человек бы так не сказал. А моя мама всегда слишком беспокоится обо мне и все преувеличивает. В любовь она, кажется, не слишком верит и говорить об этом не любит.

Гоги снимал квартиру недалеко от метро «Киевская» в сталинском доме с высокими потолками и газовой горелкой в ванной комнате.

Помыв руки и зайдя в гостиную, я слегка опешила. Большой стол был уже уставлен тарелками с едой, бутылками. Я осторожно взглянула на Гоги. Он ведь не мог успеть накрыть на стол, пока я была в ванной? Он что, знал, что я приду к нему? Или это все осталось со вчерашнего дня? Тарелок грязных вроде нет...

– Садись за стол, Катя, – улыбнулся Гоги и налил мне полный бокал вина.

Вино я лишь попробовала и пить не стала. Оно было кислое, непрозрачное, и вообще я не собиралась пить вино, я же его предупредила. Гоги сам ел с аппетитом, отхлебывал вино и подкладывал мне всякие диковинные разносолы. Еда пахла вкусно, но непривычно. Маринованный чеснок, острый сливовый соус с кусочками лука, масляный салат, лежавший тяжелой разноцветной кучкой в глубокой тарелке, темное копченое мясо с фиолетовыми прожилками.

– Намазывай на аджарули, вот, возьми, называется «пхали», – Гоги протянул мне большой кусок пирога с сыром и баночку с чем-то непонятным – то ли мелко нарезанным салатом, то ли густым соусом.

Я сделала бутерброд и осторожно попробовала.

– Нравится? Я люблю пхали!

Когда Гоги произносил грузинские слова, я сразу вспоминала, что ведь он человек совсем другой культуры. Говорит дома наверняка по-грузински. И в голове у него все по-другому.

– Ешь, ешь, – улыбался Гоги. – Моя мама вкусно готовит.

– Я ем...

Спокойно есть мне мешали не только острые запахи и незнакомые названия блюд, но и разложенная большая кровать, которую Гоги не заправил с утра. Кровать стояла прямо рядом со столом. Я старалась не смотреть на смятые простыни и небрежно брошенное одеяло.

– Потанцуем? – спросил Гоги и включил музыку. Он подошел ко мне, протянул руку.

Мы потанцевали. Музыка была французская, Шарль Азнавур пел негромко о чем-то хорошем, я слышала слова «любовь», «прости», «помню»... Танцевал Гоги так же, как ходил, – лениво, слегка только перебирая крупными тяжелыми ногами. Танцевать с ним мне было приятно, немного волнительно. Я бы и дальше танцевала.

– Пойдем, – сказал Гоги и с неожиданной сноровкой переместил меня в сторону кровати.

Я не поняла, как очутилась уже в горизонтальном положении, и смотрела со страхом снизу вверх на Гоги. Как-то все пошло не так...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.